Архиепископ
Иоанн Шаховской

БИОГРАФИЯ ЮНОСТИ

YMCA-PRESS PARIS

АРХИЕПИСКОП ИОАНН ШАХОВСКОЙ

БИОГРАФИЯ ЮНОСТИ

Установление единства

ПАРИЖ

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 Paris

БИОГРАФИЯ ЮНОСТИ

(Установление единства)

является 5-ым томом Собрания избранных трудов архиепископа Иоанна (Шаховского).

том 1 — ЛИСТЬЯ ДРЕВА (опыт православного духоведения), Нью Йорк 1964

том 2 — КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ Нью Йорк 1965

том 3 — МОСКОВСКИЙ РАЗГОВОР О БЕССМЕРТИИ, Нью Йорк 1972

том 4 — К ИСТОРИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (Революция Толстого) Нью Йорк 1975

Archbishop John of San Francisco
2040 Anza St., San Francisco, Ca 94118, USA



1926 год. Брюссель



УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА

«Ибо каждый будет осолен огнем»
Марка X, 49

I

Будущего у этих строк может не быть. Но будущее будет у человечества. И верная память о прошлом есть участие в этом будущем. Мы все его несем в своих руках.

Цель этих Записок установление единства. Благодарю, меня Создавшего и Терпящего, и людей, чрез которых я вошел в мир, помощью которых жил и все более ощущал свою жизнь, как дар и милость.

Земное существование свое я начал в Москве 23 августа 1902 года. Тайна человеческого бытия не позволяет мне точнее определить время, когда бессмертный мой дух, созданный Богом, вошел в ставшее моим тело, — было ли это во чреве матери моей, или когда я, впервые вдохнув земной воздух и прорезав им свои легкие, закричал в мире, — не знаю. Но воздух земной вошел в мои легкие под вечер 23 августа 1902 года, в Леонтьевском переулке в Москве.

Мои первые воспоминания отрывочны и, по-ви-

димому, восходят к 1906-му году. Помню себя глядящим из окна одного из верхних этажей московской (как мне сказали) гостиницы Метрополь. Какие-то фигурки бегают по площади. Жизнь моя вдвигалась в революционный век. Двигающиеся по Театральной площади маленькие люди — начало моего видения истории, — осталось ее символом. Чередования лет не сохранились четко в моей памяти; в ней остался только ряд людей и событий, а многое изгладилось, или стало неясным, очевидно несущественным, для моего сознания.

Свое детство я мог бы назвать райским. Конечно, и у меня были свои краткие детские горести и слезы. Но детство мое осталось в каком-то райском сиянии. Ни одной горчинки от прошлой жизни у меня нет. А особенно нет ее в памяти о моем детстве. Все было чудесным даром.

Мои первые воспоминания о Москве, это Сивцев-Вражек на Арбате, где родилась в 1906 г. моя младшая сестра Зинаида. В эти первые отчетливые детские картинки годов 1907-1908 входят мои прогулки с няней Татьяной и игры на песке Пречистенского бульвара и желтенькая медалька, которую раздавали в день открытия на бульваре памятника Гоголю. И более всего стоит пред глазами величественный храм Христа Спасителя с его алтарем, как внутренним храмом. Помню я и « Живые Картины » в « Охотничьем Клубе » Москвы, где я увидел на сцене тетю Полю (Поликсению Леонидовну Нарышкину, старшую сестру матери), в виде красивой баядерки, недвижно сидевшей в лодке с каким-то красавцем-« турком », на фоне Босфора. Эти живые картины мертвенно застывшие (на несколько минут) тогда часто ставили на любительских сценах. Словно то, что считали люди лучшим в жизни, должно

было застыть (« Остановись мгновение, ты прекрасно »). Но остановить жизнь было трудно, так как это была жизнь. Мое детство, это прежде всего, Матово, средняя черноземная полоса России, милая русская, тульская земля, Веневский уезд, Холтобинская волость. Там постоянно жил мой отец, который так любил землю, что оставался в деревне даже тогда, когда мы, дети, с матерью, проводили зиму в Москве, в Петербурге, или заграницей.

Одну или две зимы мы провели в Матове. Я тогда учился дома и свои экзамены в первый класс сдал в Туле, в Дворянской гимназии на Киевской улице. По этой улице тогда ходила конка, причем в гору по этой широкой улице тащила конку одна лошаденка, а с горы ее лихо мчала тройка. Это было уже некое видение русских черт — ненужной лихости и терпеливого страдальчества (может быть и иррационализма, коим полна русская история); но мы, дети, смеялись над этим.

Когда мне было пять или шесть лет, меня посадили на маленькую караковую лошадку. Звали ее — Келячок. На этом смирном коньке меня прокатывали. Позже я стал ездить верхом на разных лошадях и годам к 12-ти сделался любителем верховой езды, не как « спорта », а как самой жизни, с этой ездой сопряженной. Лошадь стала моей первой с е р ь е з н о й с о б с т в е н н о с т ь ю и дверью в мир, в природу, в свободу. Я скакал повсюду и лошадь была живой частью той независимости, которую мне предоставляли родители. Мать развивала во мне смелость и предприимчивость; заставляла меня лазить по высоким деревьям и сама показывала этому пример. С балкона 2-го этажа нашего матовского дома я, ребенком, должен был слезать по веревочной лестнице, преодолевая « чувство без-

дны» за своей спиной. Все это было воспитанием инициативы, одолением малодушия. Внешнее, в ребенке, становится выражением внутреннего состояния и характером взрослого. К лошадям у меня до сих пор осталось нежное чувство. Близкое к этому чувство осталось и к русской земле.

Отец влиял на меня всем стилем своей спокойной жизни, благодушной трудолюбивостью и серьезным, честным отношением к вещам. Это усваивалось без поучений. Мать учила своей живостью, допускавшей лишь в меру снисхождение к слабостям. У меня осталось в памяти (на всю жизнь) поучение ее, как и отца, не лгать, даже в пустяках, и иметь мужество сознаваться в недолжном проступке. С ранних лет, слово правда мне предносилось, как ценность сама по себе, независимая ни от какой инструментальной ее нужности и ценности. С детства, правда была для меня чем-то прекрасным и привлекательным... Жизнь в нашей семье была бодро-веселая, без отвлеченных нравоучений. Свобода человеческая входила в семью сама собой в открывающейся — всё шире — жизни.

Только раз мать сильно дернула меня за ухо. Это было летом, я сидел в столовой (мне было лет 12) и с грязно-смешливым выражением рассматривал иллюстрации родовой жизни лошади. Этот гневный ее жест я помню до сих пор с благодарностью. Это был гнев ее любви, отсутствием которого так часто грешат пастыри и родители. Абстрактная моралистическая дидактика не всегда переходит в конкретное вразумление, в справедливый и правдивый гнев любви.

Я сказал о чувстве первой серьезной собственности, возникшем во мне от лошади. Это чувство

собственности сопрягалось и с чувством ответственности. Вероятно здесь выход из собственнического эгоизма. И только этот эгоизм собственничества, а не собственность, есть зло истории, что так недоучитывают некоторые общественные теории.

Чувство собственности растет с раннего детства, оно есть проекция и признак зреющей личности. Собственность прекрасна тем, что ее, вообще, нет и она дается только на время. Собственность хороша именно тем, что ее можно отдать, подарить ее, снять с себя. Человеку нужно что-то иметь, чтобы иметь право и радость этим поделиться, это подарить. Чувство собственности словно создано, чтобы можно было человеку исполнить волю Божию, завершение которой давать другому, не только рубашку (если попросит), но и верхнюю одежду. Такое именно завершение жизни слышится в словах: « Так и всякий из вас, кто не откажется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником » (Лук. 14, 33).

С детства чувство собственности нарастает и становится в человеке стимулом разной активности, рождающейся в его свободе. Сама по себе она, не добро и не зло, но лишь модус личности. Чувству собственности надо, конечно, учиться, как вообще всему. Учиться на ней благородству, а не низменности. Меня удивляет, что в университетах и средних школах (тем более, семинариях) не учат искусству собственности. Это мог бы быть нужный и интересный предмет, соединяющий в себе философию, психологию, антропологию и духоведение.

В зиму 1910-11 года я получил первое ружье, это была берданка 28 калибра стрелявшая дробин-

кой. И я стал убивать воробьев, которые нахохлившись сидели на голых ветвях зимнего акатника нашей матовской усадьбы. Прицелившись, с замиранием сердца и страстью, я стрелял в эту, не ждавшую от меня ничего плохого, пичугу, и она сваливалась в снег. Бессмысленное, дикое это занятие стало началом моей охотничьей страсти. С возрастом, я получал иные ружья, и с «зауеровской» бескурковой двустволкой и собакой хаживал по тульским полям, болотам и лесам. Самое же сладостное было для меня стоять в совершенной тишине белого зимнего леса, слышать дальнее завывание гончих и вдруг увидеть (вдруг, — в этом все дело), как из леса, невдалеке от тебя, настороженно ковыляет русак.

Охотился я и на уток в болотах Епифанского уезда, у истока Дона, где была Куликовская битва, в 20-ти верстах от другого нашего имения, Прони, где мы, дети, одно время жили, после совершившегося в 1914 году развода моих родителей и бракосочетания, летом 1914 года, моей матери с помещиком Епифанского уезда Иваном Александровичем Бернард. В этой Проне, летом 1916 года, Иван Александрович был таинственно убит, о чем скажу далее.

Проня была от Матова в десяти верстах. Станция Епифань, Сызрано-Вяземской железной дороги, ближайшая к обоим имениям, отстояла в 18-ти верстах от Матова и в 8-ми от Прони. В Веневе была станция Рязанско-Уральской железной дороги, но до Венева от Матова было 30 верст, и мы редко ездили этим путем. Помню только два путешествия в Венев. Одно зимой, в возке, тройкой цугом, а другое весной, в распутицу, в тяжелой, на железных шинах, карете, запряженной шестериком (кучер

правил четверкой, а парой лошадей впереди — сидевший на одной из них форейтор).

Я сказал что охота стала моей страстью. Сейчас я вспоминаю об этом с грустью, но тогда я ничего не видел в этом, кроме большого для себя удовольствия. Единственным оправданием охоты было то, что она физически укрепила меня и, может быть, помогла развитию во мне качеств, которые мне в жизни оказались очень нужны. В раннем детстве этих качеств активности у меня было мало, я был скорее созерцательной натурой. И очевидно, мне надо было к своей душе добавить охотничью предприимчивость и волю. (Пастырю тоже надо иметь какие-то охотничьи черты, вознесенные, конечно, в этаж высочайший).

В Бога я верил всегда. Но религиозное сознание мое было младенческим и таким оставалось до университетских лет. Я никогда не проходил в жизни через «кризис веры», колебания, или сомнения. Я кратко молился Богу утром и перед сном и, может быть, не вполне понимая глубокого смысла всего происходящего в православном храме, участвовал в церковной молитве, когда меня приводили, или — потом я сам приходил в храм.

Впрочем, не надо преувеличивать сознательности в вере. (И, вообще, в мире)... В усадьбе Прони, в большом ее парке, стояла церковь, недалеко от дома. Кроме таинства венчания в ней моей матери с Иваном Александровичем в 1914 году, когда мне было 12 лет, у меня совершенно не осталось памяти о церковных в ней службах. Но я хорошо помню кладбище около этой церкви, заросшее густой травой, со старыми покосившимися крестами, типично русское кладбище. Помню колокольню, и как я залезал на нее с дьяконским сыном Лёней, и как

пахло там голубями. Помню и пожилого батюшку этого храма, но не служащим в храме, а сидящим с удочкой в « Дубках », на высоком лесном берегу озера, среди нашего парка.

Хорошо помню я лишь богослужения в храме слободы Новики большого села Гремячего, в пяти верстах от Матова. При Екатерине это был город (и там сохранились старинные названия слобод : « Стрельцы », « Пушкари », « Казаки »). « Новики » — была новая слобода, и у ее храма в семейном склепе, в часовне, под зеленой крышей, пахло ссохшимся деревом и мертвыми цветами. Здесь был погребен бывший хозяин Матова кн. Дмитрий Федорович Шаховской, в честь которого я был назван Дмитрием. Рядом была погребена его незамужняя сестра Варвара Федоровна, в честь которой была названа моя старшая сестра. Эта линия Шаховских была в родстве с матерью моей матери Поликсеной Егоровной Книна, урожденной Чириковой. По этой линии моя мать была в дальнем родстве с моим отцом. Живя молодой девушкой в имении своего grand'oncle, кн. Дмитрия Федоровича, мать и познакомилась с моим отцом. Он был старше ее на 17 лет.

Живя в Матове, мы, по воскресеньям и праздникам (особенно ярко помню весенние дни Троицы, солнце, храм, украшенный березками), отправлялись утром к обедне в Гремячее. Подавалась пролетка тройкой, а иногда и желтый шарабан, английский кэб, запряженный парой в дышло. Кучера были одеты в бархатные полукафтаны и яркие оранжевые или малиновые рубахи, рукавами выступавшие из кафтана, а на головах их были круглые шапочки с павлиньими перышками. Войдя в храм, мы всей семьей становились на левом клиросе.

Деревенский хор парней и девок пел на другом клиросе бойко и голосисто. Церковь наполнялась крестьянами, разодетыми в праздничное; парни стояли в чистых высоких сапогах и блестящих галошах (галоши считались украшением, их во время дождя снимали.)

В храме Гремячего служил приятный, тихий, молодой и уже вдовый священник о. Александр Маковский, имевший кучу детей. Как сейчас вижу его лицо, похожее на лик Христов. После службы мы заходили к нему, в его домик около храма, и в комнате, уставленной фикусами, пили чай. Нелегка была жизнь в России сельского многодетного, молодого, вдового священника. Хорошо, если в семье была подросшая дочь, которая могла заменить мать для малых детей... Отец Александр иногда приезжал с псаломщиком в Матово и служил у нас на дому всенощную под праздник... Таковы были мои первые соприкосновения с Церковью. С пастырями я встречался в России мало. Сословие « духовное » было почетным, но не близким, ни высшему кругу русского общества, ни интеллигенции, ни широкому кругу крестьянства. Оно было наиболее близко к среднему купеческому кругу и служилым людям. Духовенство не входило и в жизнь моей семьи. Но, кроме о. Александра Маковского села Гремячего и моего законоучителя в Лицее (лицо которого совсем стерлось в моей памяти), я помню хорошо свою единственную в России встречу с архиереем. Это был митрополит Флавиан Киевский, один из замечательных русских архиереев начала нашего века. Не знаю по какому поводу, моя мать посетила его в Петербурге и взяла меня с собой, мне было лет 7 или 8. Митрополит принял нас в обширных покоях своего большого Киевского Подводья на Васильев-

ском острове, у Невы. В черного бархата рясе, совсем белый, с большой бородой и добрейшими глазами он остался живым образом в моей жизни. Я, конечно, запомнил и ту шоколадку, которой он угостил меня, желая очевидно меня утешить м. б. сочувствием моему будущему. Его благословение и доброта легли в меня на всю жизнь, соединив меня чем-то личным с пастырством Русской Церкви.

В Петрограде, в 1915 году, в первый мой лицейский год, моего товарища Адю Лодыженского и меня наш лицейский учитель пения (регент хора Мариинского театра Сафонов) избрал для пения в церковном лицейском хоре. Мы стали разучивать песнопения литургии и панихиды. Но о самих церковных службах в Лицее у меня мало осталось воспоминаний. Таков был уровень моего отношения к Церкви.

Уроки Закона Божьего прошли почти бесследно для моего сознания. В подсознании, может быть и остался от них какой-либо след, но сознания религиозного у меня еще не было. Было лишь детское чувство веры. И помню, как благоговейно я остановился однажды в Матове на пороге кабинета моего отца, а потом тихо ушел, когда, ворвавшись туда одним летним днем, я вдруг увидел в тишине комнаты моего отца, молящегося на коленях. Вдруг я ощутил тайну молитвы.

Помню, радостно было мне всегда, идя ко сну, прощаясь с отцом, принимать его благословение и целовать его, перекрестившую меня, руку. Таков был обычай в семье. Мне было также радостно (еще в более раннем детстве) молиться на коленях в кровати перед сном, когда рядом молилась научившая меня молиться мать. Слова этой моей молитвы были такие: «Господи, спаси и помилуй папу, маму,

дедушку, бабушку, Варю, Нату, Зину *) и меня грешного Митю». Окончивши эту свою детскую молитву, я крестился, целовал небольшую икону Спасителя в серебряном окладе, висевшую у моего изголовья, и сладко забирался под одеяло. Мать крестила и целовала меня.

Помню, как лечила мать «ячмень» на моем глазу. Сняв свое обручальное кольцо, она три раза благоговейно проводила кольцом по моему воспаленному веку и говорила: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа». И «ячмень» — проходил. Во всех иных случаях, мать строго придерживалась классической домашней медицины того времени: больное горло или средняя часть тела покрывались толстым холодным или горячим компрессом, грудь натиралась приятно пахнущим скипидаром, давались всякие чаи. Весной собирались березовые почки и настаивали их на алкоголе. Это была какая-то примочка.

Особое священнодействие полагалось в дни рождения кого-либо из семьи или его именин. Когда наступали мои дни — 23 августа или 21 сентября (день памяти св. Дмитрия Ростовского) — мы, обычно, были еще в деревне. В эти дни я чувствовал себя особым человеком и — «на седьмом небе». Открывая глаза утром, я уже знал, что около постели будут лежать тайно положенные туда ночью подарки... Сердце мое замирало, когда сквозь лучи, пробивавшиеся из щелей деревянных ставень, я начинал различать эти силуэты лежащих около меня предметов, предвкушая радость обладания и наслаждения ими.

---

*) Три сестры мои, одна старше меня (рожд. 1897 г.) и две моложе (1903 и 1906 гг.).

Когда в этот день я сходил в столовую, в первом этаже, я видел (знал, конечно, что увижу) другую замечательную картину: все стулья или кресла вокруг стола были обычные, но одно (и это было кресло) стояло на моем месте, разукрашенное цветами. Я садился торжественно в это кресло, а все садились на свои обычные места. Никто еще не касался яств. Все смотрели на огромный крендель, благоухающий всеми запахами, тепловатый, покрытый миндалем и сахарной пудрой. Крендель должен был участвовать в теургическом действии. Теургом была мать. Она подходила ко мне, сидящему в цветах, брала со стола этот пышный крендель и, став позади кресла, на котором я восседал, опускала крендель на мою голову и торжественно, чуть изменившимся голосом, говорила: « Во здравие раба Божьего Дмитрия ». И — крендель разламывался пополам о мою голову. Но голова от этого совсем не страдала. Наоборот, она веселилась вместе с сердцем и витала где-то высоко. Священнодейственный момент этим оканчивался. Поздравляя виновника торжества, все начинали пить кофе или чай с этим душистым кренделем.

Несомненно, в этом действии было что-то связанное с « высшим миром ». И ребенок чувствовал это возвышенное и понимал, что он не только Митя, но и Дмитрий, и что главный его титул — раб Божий. Именно этот титул оставался в душе самым высоким титулом человека.

***

У меня нет (сколь помню, и не было) чувства прикрепленности к какому-то географическому месту; ни к Москве, где я родился и жил в раннем

детстве, ни к Петербургу, где учился, ни к этим удивительным, родным до сих пор, для моей памяти, полям, лескам и прудам Веневского и Епифанского уездов Тульской губернии. Еще менее связан я с югом России — Ростовом-на-Дону, Новороссийском и Севастополем, последними моими российскими берегами.

За 25 лет жизни в Европе я посетил все ее страны (кроме Албании, хотя был на ее границе в Охриде и в монастыре св. Наума на озере). Франция оставалась четверть века центром моей жизни в Европе. Бельгия, Югославия и Германия задерживали в своих границах мою жизнь, но нигде я не чувствовал землю более, чем страннически**м** чувством. Это чувство — одно из крепких чувств и связей мира. Во всяком человеке есть мимолетность. Она составляет его легкость и мудрость, которая ему нужна среди всех феноменов его преходящего существования. Странничество соответствует человеку.

Россия не додержала меня до моих полных 18-ти лет. И в годы детства я не раз покидал ее. Был я скорее слабеньким ребенком, и, по совету докторов, мать увозила меня и сестер на зиму заграницу. Два раза (до первой мировой войны) я был во Франции, один раз в Швейцарии. Это были особые странички жизни: Монтрё на Женевском озере и Тамарис близ Тулона. Тамарис был райским местом. Семилетним там я начал ездить на велосипеде и обучался шлюпочной сноровке у загорелого матроса Жозефа, маленького, жилистого, пропитанного солью, ветром и запахом морских звезд (как сейчас его вижу).

Это была зима 1909-10 года, когда в Тулон пришла русская эскадра. Три крейсера входили в

бухту величественно и спокойно, как бы милостиво, сотрясая воздух пушечными салютами. Узнав о пребывании нашей семьи около Тулона, командир флагманского корабля «Богатырь» кап. 1 ранга Матросов и офицеры пригласили нас на корабль. Был послан за нами катер в Тамарис; с матерью и жившей с нами молодой тетушкой (двоюродной сестрой матери) Гали Анатольевной Чириковой и сестрой Варей, мы посетили крейсер, проведя вечер в кают-компании «Богатыря» с веселыми офицерами и командиром.

Ровно через 50 лет, в 1959 году, епископом Сан-Францисским, находясь на юге Франции, я посетил эти места моего детства, чтобы там поблагодарить Бога за свою жизнь, за все, данное мне в мире за полвека пути и милости Его, долготерпение ко мне. Был ясный летний день. Проехав Тулон (очень изменившийся за 50 лет), правя машиной, я нашел на окраине бухты, около поселка Sablette, Тамарис и отыскал то, стоящее около берега моря в саду, большое здание отеля, стиля fin de siècle, где мы жили в 1909 году. Тогда это было новое и веселое здание; теперь оно было запущено, сад зарос кустарником, а дом стал убежищем для старых людей... Я тихо побыл в зарослях сада, окружавшего дом.

Удивительна тайна человеческого времени. Чем больше о ней размышляешь, тем больше недоумеваешь. Время становится все неизъяснимее, по мере лет и все более оно бывает сопряжено с вечностью, все более становится скорлупкой вечности. Только живой, движущейся вечностью и можно измерять время, потому что вечность уже владеет нами. Я стоял в зарослях Тамариса пред полувеком моего земного существования. Время осязательно

мне являлось. О всем временном, что ушло, я не жалел. Было здесь нечто более глубокое, чем даже память, — был избыток бытия, так как человек есть избыток бытия, Божественной вечности, таинственно создавшей нас и пульсирующей в нас и во всем. Это знал Паскаль и оттого положил около своего сердца тот клочок бумаги, на котором были написаны слова его ночного озарения: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не философов и мудрецов. Огонь, огонь, огонь».

II

В 1912 году меня и сестру Нату отдали в царскосельскую Школу Левицкой. Сестра поступила в первый класс, я во второй. Это была единственная в России на гимназическом уровне школа совместного обучения мальчиков и девочек. Стиль ее был энглизированный, спортивный; там обращалось особенное внимание на физическое воспитание, закалку тела. Большое, наподобие огромной дачи, деревянное здание школы было пропитано воздухом, свежестью и холодом, от которого я очень страдал (и оттого остался там только один год). Мальчики ходили в спортивных костюмах, коротких штанах и длинных чулках (в правило входило менять чулки днем, для чего были установлены чулки черные и красные). Ученики носили красные кепки с изображением подснежника.

Перейдя в третий класс весной 1913 года, я был изъят из этого спортивного холода. Помню далее себя стоящим солнечным летним днем на подоконнике большого окна московского губернаторского дома. Неширокая Тверская запружена народом, стоят шпалерами войска и близко от окна медленно продвигается процессия экипажей. Это был въезд

Царя в Москву на празднование торжеств 300-летия Дома Романовых. В первой коляске едет Государь с Государыней и Наследником. В следующей — четыре великих княжны и далее следуют экипажи, в одном из которых я запомнил человека с крупными чертами лица, то был министр народного просвещения Кассо... Государь моложав (ему тогда не было и 50-ти лет), борода ярко-русая, чуть рыжеватая. Он спокойно отдает честь войскам и народу. Государыня в большой светлой шляпе сидит рядом с царем, а на передней скамеечке коляски живо поворачивается в разные стороны царевич. День теплый, светлый. Торжественный звон стоит над Москвой и Россией. Страна несет мир миру, ее развитие идет быстрыми шагами. Своим хлебом она кормит многие страны... Трудно постигаемый в своей бессмысленности, шквал войны, ввергший мирную страну в бездну страданий, был, от этого российского торжества, всего на расстоянии одного года.

Кто знал об этом? Пророков не было, или они, как обычно в жизни народов, не были слышны. Чувство величия затмевало, может быть, русские пророческие дары... Не был пророком в тот день и растерянный от волнений и торопливости, в своем черном, золотом расшитом мундире, смуглый хозяин московского губернаторского дома, «черный» Муравьев (как его звали, в отличие от другого, «белого»). Добрую (по-иному растерянную) его «черноту» мне пришлось увидеть ровно через десять лет. Я уже не был мальчиком, а он — губернатором. Оба мы были русскими беженцами и жили в Брюсселе. Муравьев приходил к моей матери и они говорили о прошлом.

Может быть тогда, в Москве, я впервые ощутил Россию, почувствовал ее историю. Чувство

«русскости» во мне возникло раньше, и этому я более всего обязан отцу. Помню его в матовском доме, склоняющегося над картой Балканского полуострова; в карту вколоты флажки, это — время Балканской войны 1912 года. Отца волнуют события, он чувствует связь балканской и русской судьбы. Отец был русским националистом в чистом и гуманном, «московском» смысле этого слова. Может быть, потому лирика Алексея Толстого и нашла во мне такой отзвук, что в ней я находил гармоническое поэтическое выражение того, что чувствовал мой отец. Чтобы не слишком доверять памяти, я могу тут сослаться на книгу моего отца, вышедшую в 1912 году: «Что нужно знать каждому в России». Уже в эмиграции, в 30-е годы, я разыскал ее в Государственной Библиотеке Гельсингфорса и переиздал в 1939 году часть ее, озаглавив: «Что нужно знать каждому в Русском Зарубежьи». Изданию я предпослал предисловие.

Отец и мать дали мне много в жизни, каждый по-своему и по-разному. Они были люди разные, дополнявшие друг друга, и, может быть, это повело их к разделению, которое, однако, не продолжилось долго. Промысел Божий, над всеми событиями проходящий, разъединил их жизни, а после великим ветром снова соединил их, к радости и успокоению нас, четырех их детей. Отец был человеком большой веры. Тихой церковности, скромности. Мать его Наталья Алексеевна, в девичестве княжна Трубецкая, была дочерью Алексея Трубецкого и жены его Надежды Борисовны, урожденной княжны Четвертинской. Свою прабабушку (родившуюся в 1812 году) Надежду Борисовну Трубецкую, я помню в Москве в ее доме. Это был, в детстве, самый старый человек, которого я видел. Ей было 96 или

97 лет, и она стала первым покойником, мной в жизни увиденным. Величественная, бледная, с обострившимися чертами лица, она лежала в гробу, к которому меня подвели. Дом ее московский, купленный Щукиным, стал одним из московских музеев. Ее дочь, бабушка моя, Наталья Алексеевна, вышла замуж за доброго и кроткого человека, Николая Ивановича Шаховского, моего деда, имя которого (как обладателя золотой медали) значилось на доске первого выпуска Императорского Училища Правоведения. Дед скончался в 1891 году. Звание сенатора ему не мешало быть совершенно непрактичным в хозяйственных делах. Чтобы спасти от разорения его рязанские имения, была « высочайше » (как тогда говорили) утверждена опека в лице его друга и соседа рязанского, известного ученого, географа и государственного человека Петра Семенова Тян-Шанского, человека во всех отношениях исключительного. Сын его, когда я пишу эти строки, 95-тилетний Валерий Петрович Семенов Тян-Шанский, прислал мне из Гельсингфорса свои воспоминания о моем деде Николае Ивановиче, которого он хорошо знал в своей молодости, в 80-х годах прошлого века.

Овдовев, бабушка Наталья Алексеевна осталась жить в своей усадьбе Мураевня, Данковского уезда, Рязанской губернии, с неженатым сыном Сергеем и незамужней дочерью Натальей. У нее было 11 человек детей, но она всю жизнь одевалась в темное, как полу-инокиня. Такой я ее и помню, когда ребенком меня привезли к ней в Мураевню на лошадях из Матова, через город Михайлов. От бабушки и деда шла глубоко в православии укорененная религиозность и тихость отца. Впрочем, я не принадлежу к последователям крайних теорий наследственности. Опровержение ей можно найти в самой нашей семье.

Отец мой был вторым сыном (родился он в Москве 18 июня 1855 года). А старший брат отца, Иван Николаевич, молодым умер на Кавказе, убитый лошадью. Он был офицер Преображенского полка, и его сослали на Кавказ за убийство на дуэли брата П.А. Столыпина. Также и самый младший брат отца, Дмитрий Николаевич, деловой человек, после военной службы, стал Секретарем Государственного Банка, а потом директором Торгово-Промышленного Банка в Петербурге. Уйдя в эмиграцию, он все имевшиеся у него заграницей деньги не только раздал, но и проиграл в Монте-Карло и умер почти невменяемым, убежденным в правоте своей игорной « системы », которая перед финальным его проигрышем позволила ему выиграть в Монте-Карло огромную сумму. (Эта выигранная сумма окончательно и погубила его).

Сестру отца, незамужнюю тетю Марусю хорошо помню в милом и скромном сестринском облике. Она была Старшей Сестрой Московского Дворянского Отряда Красного Креста во время Японской войны. Другая сестра отца, тетя Соня, вышла замуж за московского общественного деятеля, архитектора С. Родионова. Старший сын их был женат на Муромцевой (дочери первого Председателя Государственной Думы и двоюродной сестры жены И.А. Бунина, Веры Николаевны). Этот двоюродный брат мой, Коля, стал редактором академического издания сочинений Л.Н. Толстого, а его брат Костя живет по сей день в Москве, на пенсии, как один из известных в России пчеловодов (переведший пчел за полярный круг. Об этом есть глава в книге М.М. Пришвина « Весна Света »).

Отец любил простую Россию, деревню. Когда учредили земство, молодым, он пошел в земские

начальники. В начале десятых годов, избранный веневским предводителем дворянства, он до самой революции хозяйничал в деревне, помогая людям, без всяких демократических идей или теорий. Он был простого, искреннего склада, был хозяином, как многие игумены русских монастырей, любил жизнь вдали от больших городов, но без романтики искусственного опрощения. Простота его не требовала ни декораций, ни революций, но труда, честности и творческого воображения. Он был тем, чем был, но в нем не было классового чувства. Непонятно почему, он в юности, в 70-е годы, поступил на математический факультет и окончил его в Юрьеве, когда этот город назывался еще Дерптом и университет был немецким. В этом очевидно была какая-то для него поэзия. Помню, он рассказывал нам, усмехаясь, о своих студенческих днях и как однажды, выпив слишком много для своих сил пива, он взобрался на крышу дома и стал оттуда проповедовать студентам о вреде пьянства... Мы, дети, очень веселились, слушая этот рассказ. Нам трудно было вообразить отца в таком положении.

« Чувство России », я думаю, стало у меня развиваться с десятилетнего возраста. С благоговением и детской гордостью читал я в историческом повествовании, как, во время Бородинского боя, действовал у деревни Утица, против маршала Даву, корпус « егерей Шаховского ». Тогда генерал-майор и командир егерей в Бородинской битве, прадед мой, Иван Леонтьевич, стал в 30-е годы одним из усмирителей Польши, а потом Генералом Аудиториата (высший чин юстиции Русской Армии). Император Николай I говорил о нем, как о « своей совести » (сейчас трудно определить, в чем он был внимателен к этой совести). Его портрет, висевший у нас и по-

казывавший на нем все российские ордена (кроме Георгия 1-й степени) возбуждал во мне чувство России. Я осознавал чрез него себя причастным к России. Это чувство русскости у меня еще более обострилось, когда мне стало известно, что наша семья свое начало ведет от Рюрика и Св. Князя Владимира, чрез святых благоверных князей Феодора Смоленского и Ярославского, память которого и сыновей его Давида и Константина, Церковь празднует 19 сентября (2 октября) и 5 (18) марта.

Разумеется (мой отец любил это слово), чувство патриотизма, любви к родине, к земле своей, к предкам и их славе — двойственно. Тут есть своя правда, о чем говорит и Библия, но тут может быть и большая нравственная ложь. Человек не должен себя духовно утверждать, ни в своих предках, ни в потомках. Люди — существа не отвлеченные. Человеку дана земля, дана история, но высшей стороной своей он открыт миру духа и истины, бессмертному спасению в высшем бытии. Мы живем в плане не только историческом но и метаисторическом. Огромное значение, для евангельской проповеди, имела и родословная Христа. Плоды земного древа должны быть в Раю, но корни его в глубине земли.

« Мы начинаемся, как эмбрион,
А после отплываем на Афон.
Как эмбрион встает из электронов,
Встает из эмбриона человек,
Бездонность глаз прикрыв морщинкой век » *).

Эта земная « морщинка век » прикрывает, не только в младенчестве « бездонность » наших глаз.

---

*) « Поэма о Русской Любви » « Последняя Глава ».

Вступив на иноческий путь, я ощутил в себе сильное отталкивание от всего временного, « тленного », « родового », узко « националистического ». Я так насмотрелся этого узкого, бездуховного национализма, что впал в крайность, меня коробило от одного упоминания, что я « Шаховской ». (А когда к этому добавляли и мой титул, для меня это было непереносимо). Духовная реальность Царства Божия, в которую я вступил в середине 20-х годов, чувствовалась мною гораздо более интенсивно, чем все титулы мира сего, казавшиеся мне жалкими и претенциозными. Я был максималистом в эти первые годы моего иночества и священства и не жалею об этом. За долгие годы служения Церкви, я не потерял этого максимализма, но стал более терпелив к медленности общего процесса созревания людей среди земных феноменов. Мне открылась другая сторона реальности моих предков : моя и за них духовная ответственность, как их — за свое потомство. Ответственность, понимаемая, конечно, не в федоровском полубезумном смысле, как необходимости активного участия нашего в земном воскрешении всех предков, а в смысле участия нашего в их смертности и в том их бессмертии, в их человечестве, которое будет воскрешено Христом. И история есть уже начало процесса воскресения. « И Я воскрешу его в последний день » (Ин. VI, 40). Последний этот день *уже начался.* « Усилия » наши, это уже достижение верой и любовью Царства Божия, уже данного человеку, заложенного в нем. Как бабочка из гусеницы, так из Ветхого Завета Божьего с призванным народом, выходит Новый, Христов Завет с личной призванной душой человека. Народы и государства земли, с их законами, ограничивающими грешное человеческое своеволие, кажутся в

наши дни еще длящимся в людях Ветхим Заветом Бога с человеком. В этом древнем Законе еще живет как в плену человек, выходя из него только Благодатью Сыновства. Этой благодатью Нового Завета живут не все и христиане. «Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» (Лук. XVIII, 8). Я чувствую и свою неверность Новому, Христову Завету, который есть невероятно-прозрачное и всецелое общение людей с Богом и Бога с людьми, и чувствую всю свою погруженность в это общение, всю свою невозможность быть вне его.

Вера не есть отвлеченное признание Божьего бытия и истин, из него вытекающих (хотя бы самых догматически верных). Вера, это высочайшая симфония человеческого сознания, силы надежды и силы любви, иной чем любовь плотская, классовая или националистическая. Вера в Бога, это и пришедшее в силе Царствие Божие, начавшая уже осуществляться надежда бессмертной жизни.

Мой отец был человеком, чуждым социального тщеславия и стяжательства материальных ценностей, даже для своей семьи. Это, вероятно, несколько обескураживало мою мать, более волевую и житейски вовлеченную в мир сей, ставшую матерью четырех детей, хозяйкой дома, организатором всех семейных событий и праздников. Безразличие философское и прагматическое моего отца к заботам о семье, о построении наилучшего общественного будущего для детей, огорчали ее. Надежду на то, что отец согласится выйти на поприще большой государственной службы, ей подало дарование Государем отцу (это было, кажется, в 1912 году) камергерства. Но отец остался равнодушен к Петербургу. Лишь один раз в жизни надел он свой камергерский мундир, шитый золотом, с ключом,

висевшим сзади (над чем мы, дети, очень потешались), когда он представлялся Государю. И, когда мы, дети, спрашивали: « О чем же ты говорил с Государем? » — отец (поднесший царю свою книгу « Что нужно знать каждому в России ») отвечал, улыбаясь, несколько иронически: « Я благодарил Государя ». « Ну, а тебе что Государь говорил »? — « Государь благодарил меня ».

Отец настоял на своем, из деревни никуда не уехал, хотя пред ним открывались двери к государственному посту. Он остался в Матове и лишь на короткое время наезжал в ту или иную столицу, а в Великом Посту ездил говеть на Новый Афон, в эту райскую на кавказском берегу обитель, наслаждаясь тишиной, красотой и благолепием церковных служб.

Примечательно, что весною 1918 года, прискакавшие в Матово из города Венёва конники-красноармейцы арестовали не его, Предводителя дворянства, а, никаких официальных должностей не занимавшую, его жену. Лишь в своей молодости, в 90-х годах прошлого века, мать общественно работала в Комитете помощи голодающим кн. Г.Е. Львова. Когда, перед ее отправкой в Москву в ЧК к Дзержинскому, мать сидела в веневской тюрьме и готовилась к тому, что ее расстреляют*) (как пред тем расстреляли брата отца Сергея и сестру Наталью в Рязанской губернии), отец ходил по городу Веневу и открыто бранил комиссаров за их безобразия. И его никто не тронул. Он только был

---

*) Она взяла с собой в тюрьму маленькую иконку в серебряной оправе Иверской Божией Матери, которую она до войны, лечась в Бад Киссингене, нашла в траве городского сада. Эту иконку она перед своей смертью дала мне.

выслан из тульской губернии и поселился у своей сестры С.Н. Родионовой, тети Сони, в ее имении Ботово, Дмитровского уезда Московской губернии. Там я его и увидел в последний раз, пред своим отбытием на юг России.

Если так можно сказать, отец был « конем », впряженным в одну телегу с « трепетной ланью », моей матерью. Диалектика такого единства может принести добрые плоды, разность людей может быть одной из скреп семьи. В нашей семье было и так, и иначе. Получив церковный развод летом 1914 года, мать вышла замуж, как я уже сказал, за нашего соседа по имению, помещика Епифанского уезда, Ивана Александровича Бернарда, лицеиста 36-го курса Императорского Александровского Лицея, потомка французских эмигрантов Бернард де Грав. Иван Александрович, видимо, сильно полюбил мою мать. Имею основания думать, что, оценив его преданность, моя мать вошла в немалый конфликт сама с собой и с тем, что она считала морально-верным. Отец не соглашался изменить свою жизнь для семьи, и мать уступила Ивану Александровичу, согласилась на брак с ним. Ей было 42 года. Отцу 59 лет. Ивану Александровичу 50. Наша семья вступила в трудный период.

Венчание матери, на котором мы, дети, присутствовали, было в храме усадьбы Ивана Александровича, Проня, летом 1914 года. Никого, кроме семьи, не было на этом венчании. И, едва оно окончилось, мои сестры разразились дружным, громким плачем, — не то от горя, не то от предчувствия беды. Я тоже чувствовал себя неуютно. Жизнь потянулась дальше. В Проне был парк в 90 десятин и среди него озеро в 7 десятин, где была рыбная ловля (процветал и мальчишеский спорт вытаскивания

руками раков из их береговых нор), купанье, охота, езда... Но жизнь треснула. Отец из Матова переехал в Венев и жил отшельником, все свое время отдавая работе. Должность Предводителя была связана с мобилизационным делом.

Осенью 1915 года я поступил в Императорский Александровский Лицей, а летом 1916 года, перейдя в следующий класс Лицея, приехал к матери в Проню. В это лето И.А. Бернард был, почти на моих глазах, убит террористами.

Дом Прони, в котором мы жили, стоял у края огромного парка. В один из вечеров, после ужина, в столовую около веранды, выходящей в парк, когда Иван Александрович и мать еще оставались в столовой и дверь в парк была открыта, в нее вошли два человека. Старший держал в руках двуствольное ружье. Иван Александрович подошел к ним и спросил, что им нужно. В это время человек с охотничьим двуствольным ружьем стал в него целиться. Иван Александрович схватил ствол ружья, отстраняя его от себя. Между ними завязалась борьба. Мать, хранившая в своей комнате револьвер, бросилась к себе. Я видел, как она в огромном волнении пробежала чрез мою комнату, но сам не понимал, что происходит, пока не раздался выстрел. Бросившись к одной из дверей, ведущих из коридора в ее комнату, мать увидела, что эта дверь оказалась запертой (может быть, это спасло жизнь матери). Когда она добежала до другой двери и достала револьвер, все уже было кончено. В столовой прогремел гром выстрела и раздался ужасный крик Ивана Александровича. Не успел я придти в себя, — дверь открылась и чрез комнату, держась за свое плечо, он прошел, с изменившимся лицом. Убийцы бежали в парк. Вооруженная браунингом,

мать выбежала на веранду и стала стрелять в темноту. Осознав случившееся, я побежал к колоколу, висевшему около флигеля дома, и начал бить в набат. Собрались люди, но убийц и след простыл. Иван Александрович был ранен в плечо у груди. Рана была большая, весь заряд вошел в нее. Решено было немедленно везти раненого в город Епифань, за 20 верст. Там была ближайшая больница. Подали экипаж, мать села с Иваном Александровичем, а я — на козлах с кучером, взяв в руку свой большой пистолет кольт. Мы могли ожидать, что преступники сделают второе нападение. Как выяснилось, их нападение на Ивана Александровича было вторым. Накануне они покушались на графа Бобринского, жившего верстах в 20-ти от нас, но убили, по ошибке, его управляющего. А через три дня после покушения на Ивана Александровича, сделав 90 верст, они стреляли в ехавшего по дороге в пролетке члена Государственного Совета Глебова, ранив его и жену.

Все было властями поставлено на ноги, чтобы изловить преступников. Мотивы преступления оставались неясными, но было несомненно, что ограбление не являлось его целью. Были найдены малограмотные воззвания. Беспомощное, в языковом и интеллектуальном отношении, воззвание их было составлено от имени каких-то «барократов», причем было очевидно, что под словом «барократы» эти люди понимали не пользу бар, но их — истребление. Это было начало уже общероссийского иррационализма. Взвихривался и выползал из России, из ее щелей и ран русский грех. Вылезали темные духи, мстившие России за остаток Божьей правды оставшейся в ней. Россия, жалким остатком своей веры, не могла противостоять этим духам.

Проня стала наполняться сыщиками, следователями, военной охраной. Прибыл из Петербурга генерал, шеф жандармов, велось большое следствие... Мне открылся новый и интересный мир. Я познакомился с русскими шерлок-холмсами. Мы ходили и ездили вооруженными. Проня, летом 1916 года, стала каким-то лагерем. Убийца Ивана Александровича, Окулов, был, в конце концов, пойман. Ему помогал подручный, мальчишка лет 18-ти. Окулов был и исполнителем своих замыслов. Полуграмотный, он был проникнут большой силой сконцентрированной ненависти и иррациональной жажды убийства. Это было явление той *трихины*, о которой пророчески сказал Достоевский. Трихина ненависти, вскормленная кровью не нужной для народов войны, выходила из грехов мира и шла на русскую землю. Окулова застрелили в тульской тюрьме, во время его попытки убийства охранявшего его стражника.

Иван Александрович скончался в больнице города Епифани от столбняка. Он умер в больших мучениях. Когда тело его было вскрыто, под лопаткой нашли *весь заряд* картечи с грязным пыжом. Сыворотки против столбняка не нашлось в уездной больнице. И было поздно куда-то везти раненого, когда действие столбняка обнаружилось. Я никогда не видел ничего более ужасного, чем те судороги, в которых корчилось в агонии тело Ивана Александровича. Это было какое-то адское колесование. После смерти, гроб с телом запаяли и оставлено было лишь стеклянное окошечко в гробу над лицом. Лучше бы его не оставляли. Прощаясь с гробом, поставленным среди церкви в Проне, я мельком взглянул на то, что было лицом Ивана Александровича, и увидел нечто невыразимое:

вздутое, черное, разложившееся лицо и выскочившие из орбит глаза, полные ужаса. Гроб стоял на том месте, где два года тому назад Иван Александрович венчался с моей матерью, после чего громкий плач сестер огласил церковные своды.

Учитывая все обстоятельства, Святейший Синод восстановил церковный брак моей матери с моим отцом. Мы все вновь поселились в Матове, к семье вернулось ее единство.

* * *

Осенью 1915 года я поступил в младший класс Императорско-Александровского лицея (равнявшийся IV классу среднего учебного заведения. Высшее учебное заведение, Лицей, начинался со старших гимназических классов). Весной я перешел в следующий класс и через год в VI класс Лицея.

С осени 1916 года в Лицее ощущалась повышающаяся в стране общественная температура. Один из моих товарищей, Иван Балашов, организовал кружок, « Спасения России », себя предложив его председателем и почему-то дав себе звание « Гетмана ». Брожение мысли взрослых передавалось детям. Близкие к Царской семье лица охотились на Распутина; другие пользовались им. Журналы, газеты открыто высмеивали начальство. Помню карикатуру на всю страницу « Сатирикона » : важный человек в форме (лицом похожий на Трепова) смотрит недовольно на удаляющиеся рельсы и укорительно восклицает подчиненному : « как вы допускаете то, что они сужаются ? ! » По салонам ходили юмористические легкие стихи Мятлева, их переписывали, это был великосветский Самиздат тех дней. Помню в одном стихотворении Мятлев обыгрывал

газетное сообщение исполняющее предписание не называть Распутина по имени. Оно было построено на варьировании слова « лицо ». (« Лицо приехало к лицу », и т. д.).

Последние месяцы моей лицейской жизни шли при революции. Помню эти дни. Я жил тогда на Фурштадской улице, напротив здания американского посольства. (Мысль, что я стану когда-нибудь американским гражданином, даже мухой, не летала около меня). Помню, как с балкона этого посольства М.В. Родзянко произносил речь к толпе. Толпа стоит безмолвно. Никто, в сущности, не знал, как все сделалось и что сделалось.

Один из моих товарищей по лицею, Лев Любимов, жил неподалеку, на Кирочной. Мы с ним ходили по революционному Петербургу. Зрелище было новое : хлопали выстрелы на улицах, свистели пули, проносились автомобили с лежавшими, выставив ружья на их передних крыльях, солдатами. Шли толпы и быстро рассеивались в подворотнях от стрельбы; где-то ловили верных своему начальству городовых, отстреливавшихся с чердаков. Начались нескончаемые митинги на углах, у памятников, ораторы на них влезали. Вряд ли Россия когда-либо в истории так много говорила. Цари не поощряли излишней говорливости. Но крышка котла сорвалась и пар шел. Потом его опять загонят внутрь и будут впускать в колеса. Но в те дни машина легла колесами вверх и пар, несясь в воздух, свистел.

Предубеждений у меня не было к ораторам, как и желания их слушать. К 50-летию Октября я написал в поэме :

« Я помню, как в семнадцатом году
Пришлось мне часто ездить мимо дома

Где человек с бородкой, незнакомый
Судил довольство, обличал беду.
Истории я не расслышал грома,
Пусть это будет к моему стыду.
С балкона Ленин говорил народу
И обещал всем счастье и свободу.

А я лишь мимо дома проезжал
И мимо революции... Плодилось,
Ораторов, не счесть. Всяк возвещал
О « новой эре ». Так разголосилось
Людей порядком. Человек — Тантал ,
Он любит, чтобы что-то подносилось
К его устам, он любит дух питья...
Весь мир тогда питьем был для меня » *).

Не сопровождаю свои Записки историческими оценками всего тогда происходившего. Это слишком легко сейчас. В эмиграции потом я встречался со многими лицами, как дореволюционной, так и февральской России. Все они были жертвами, но как я замечал с горечью, не все принимали на себя нравственную ответственность за все происшедшее, и еще реже доходили до сознания своей вины пред Богом и пред своим народом.

« Мы все грешили в старые года
Сословною корыстью, равнодушьем
К простым, живущим в этом мире душам.
Мы помогали братьям не всегда!
И вот стекла дворянская вода,
Изъездив облака, моря и сушу,
Я понимаю, что случилось тут, —
Благословен великий Божий Суд » **).

---

*) « Поэма о Русской Любви » Глава « Начало жизни ».
**) Тоже. Глава « Спаведливость ».

Наиболее трезво и достойно смотрели в Зарубежьи на прошлое сестры Государя, Великие княгини Ксения Александровна и Ольга Александровна. Ольгу Александровну я особенно близко знал. Из ее рассказов наибольшее впечатление на меня произвел ее рассказ о не легкой, для царских детей, обстановке в семье Александра III. Дети императора всероссийского воспитывались строго в некоем бытовом аскетизме и (странно сказать), частенько голодали. Ольга Александровна это объясняла так. За столом, им, сидящим на последних местах, подносили блюда, после всех и они не успевали съесть всего, что взяли. Тарелки убирались. Кроме того, им не полагалось ничего есть между общей едой. Дети страдали от желания есть, но ничего не могли съесть. Великая княгиня рассказала, как однажды ее брат Ники, будущий император Николай II *съел содержимое своего нательного креста.* Всем детям императорской фамилии, при крещении, давали крест, в котором была вложена частичка Креста Христова, окруженная мастикой (клееобразным веществом). И вот, желая утолить свой голод мальчик Ники, не понимая конечно того, что делает, открыв крест, съел его содержимое с частицей Животворящего Креста. Удивительный символ есть в этой истории.

В 50-60 годы я встречался с Александром Федоровичем Керенским. Видно было, что он немало размышлял о событиях, вознесших его на вершину власти. Самое ценное, что я от него услышал, это признание того, что в молодости своей он был слишком самоуверенным*). Он говорил

---

*) Не в отношении дела Корнилова, а вообще. Уму Корнилова он не доверял, но признавал его честность.

мне также, что считает своей ошибкой, что не был, как председатель Совета министров тех дней, на открытии Всероссийского поместного Церковного Собора в Москве в 1917 году. Он делегировал открыть Собор Антона Владимировича Карташева, министра исповеданий. В отношении же февральской революции у него не было никакого чувства своей вины, но м. б. он боялся высказать такое чувство, т. к. его могли бы интерпретировать не религиозно, а политически. Свою великую российскую неудачу он объяснил мне тем, что *« не мог пойти на кровь »*. После летнего восстания Ленина это конечно можно было сделать. Слишком явно Ленин шел к захвату власти и подавлению начавшейся свободы. Керенский, провозвестник этой свободы, не чувствовал в себе сил нарушить полную политическую терпимость, возвещенную им самим в феврале. Ленин этим воспользовался. Тут была « квадратура круга » февральского. Квадрат государственности мешал безупречности круга, а круг свободы демократической возвещенной февралем сам себя оказался не в силах спасти.

III

Перед рассветом холодного мартовского дня, когда я был уже на скотном дворе и наблюдал за приготовлением к дойке (мне было в Матове поручено заведывание молочным хозяйством), я увидел, чрез дальние ворота, вливавшихся во двор вооруженных всадников. Это был отряд красногвардейцев, прискакавший из Венева. Всадники быстро окружили усадьбу и начался обыск.

Несколько револьверов и охотничьих ружей было найдено в доме. Мать арестовали и увезли в Венев. Отец и кое-кто из дома поехали с матерью... Незадолго пред этим дошло до нас из Рязанской губернии известие, что пришлые люди из города, прибыв в рязанское имение бабушки Мураевню, арестовали ее сына Сергея и дочь Наталью, повезли их в город и, по дороге, расстреляли, вместе с их соседями по имению. Окровавленные тела этих кротких людей были привезены в Мураевню. Верою Иова бабушка встретила смерть своих детей : « Господь дал, Господь и взял » сказала она и перекрестилась.

Матовский дом предстояло покинуть, как и свое детство. Сестры переехали в Тулу. Высланный из

тульской губернии отец нашел себе приют, как я упомянул, в подмосковской усадьбе своей сестры, Софии Николаевны Родионовой в Димитровском уезде. В последний раз я там увидел отца в начале июня 1918 года. От станции Яхрома я шел пешком 30 верст до усадьбы Ботово, там пробыл несколько дней и простился с отцом. Ни он, ни я не думали, что не увидимся больше в этом мире.

В усадьбе Ботово жили сестра отца София, мать отца, приехавшая из рязанского имения, после убийства ее детей, и ее сестра престарелая тетка отца, княжна Надежда Алексеевна Трубецкая. Она предложила мне тогда воспользоваться на юге, если будет надо, ее усадьбой в горах близ Кабардинки, в 18 верстах от Новороссийска. Я воспользовался этим впоследствии, но предстояло еще прожить большой год.

В Москве я хлопотал за мать. Эти два-три весенних месяца в Москве были для меня каким-то новым по широте своей, погружением в русскую жизнь. Мне было пятнадцать лет, я был совершенно свободен от всего и ничего не воспринимал трагически. Трагизм приходит лишь в зрелую душу, а моя душа была молода и беззаботна. В зрелом возрасте так просто на жизнь и будущее может смотреть только очень верующий в Бога человек. Крушение России не доходило до моего сознания(как и до сознания многих — тогда.). То, что семейное гнездо было уничтожено, казалось каким-то временным эпизодом. Жизнь куда-то вела и было состояние легкости, отрешенности и от прошлого, и от будущего.

Все конечно просто и удивительно в 15 лет. Удивительного тут ничего нет. Потери материаль-

ные не ощущались, не было еще чувства собственности и нельзя было что-то потерять. Ощущалась даже особая легкость освобождения от зарождавшихся тяжелых и торжественных связей жизни... Я думаю, что это была какая-то особая «благодать начавшегося странничества» (своего и всероссийского).

Петербургским лицеистом и еще до Лицея, я посещал театры, Мариинский, Александринский, Михайловский (где шли французские пьесы). Бывал и в театрах миниатюр. Детьми нас возили на дневные детские представления в Народный Дом. Помню, какое большое впечатление произвела на меня поставленная там «Синяя Птица».

И в Москве, в 1918 году я ходил в Художественный театр буквально впивая в себя русский язык и русскую жизнь; шли пьесы с Качаловым, Москвиным, Станиславским. Слушал я и умную и едкую иронию театра — недалеко от Страстного Монастыря (кажется, это было «Кривое Зеркало»), где беззаботно пели песенки о Брест-Литовском мире. Брест-Литовский мир меня не волновал. Новая власть укреплялась, не обращая ни на кого внимания. И на нее, казалось, тоже тогда никто не обращал внимания. Все считали что ее явление кратковременно. В серьезность «Октября» никто тогда не верил (кажется и сам Ленин). И это «неверие в него» полезно было для Октября. Жизнь старая шла по инерции для всех, кроме тех, кто легко подобрал валявшуюся на улице власть. Люди эти серьезно занялись властью и над нею днем и ночью трудились. «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Это сказалось и о России.

На окраинах страны возникала гражданская

война, как зыбь, оставшаяся от мировой законченной, но не закончившейся войны. В Москве это еще не ощущалось. Объявилась « Украина » гетмана Скоропадского, под немецкой мирной оккупацией (не такой, как в 40-е годы). Я об этом узнал за чашкой чая у своего родственника кн. Н. Щербатова, директора московского Исторического музея. В его большой, тихой квартире, в доме музея, за тяжелыми портьерами жизнь чувствовалась как за каменной стеной. Какая-то дама за чаем сообщила светскую новость: Скоропадский стал « Гетманом Украины ». Звучало это не серьезно. Скоропадский был известен, как простой гвардейский офицер. Интересна же была эта новость тем, что еще куда-то « можно было поехать в случае чего ».

Я дружил в Москве с Петей Туркестановым, славным мальчиком моих лет, учившимся в гимназии Поливанова. Дядя Пети был известным, еще до революции, в Русской Церкви Преосвященным Трифоном викарием московским, (в миру кн. Туркестанов, епископ Трифон изображен яркой фигурой на известной картине Павла Д. Корина « Уходящая Русь ») *). Петя остался в России. Как я потом узнал, он долго сидел в концлагерях, а когда наступила реабилитация, он имел силы только доехать до Москвы, и умер на следующий день на квартире сына от истощения, свободы и счастья.

Моя последняя московская весна была странной — и нереальной и, одновременно, яркой, полной какой-то большой новой, на меня обрушившейся

---

*) В Москве, среди православных, существует определенное предание, что еп. Трифон вызывался к умиравшему Ленину. Не имею данных это оспаривать или подтверждать.

действительности. Я стал взрослым в 15 лет, не перестав быть и мальчиком.

Повзросление мое ускорилось, может быть, от той жизненной ответственности и новой свободы, охватившей меня. Я воспитывался отцом и матерью в духе свободы; в ней спокойно и счастливо шло развитие моей души; но тут, в Москве, весной 1918 года я словно выплыл на широкое море свободы.

Не помню, чтобы у меня когда-либо (в детстве, или позже) было чувство изоляции или одиночества, или какого-нибудь горя. Ничего этого у меня никогда не было, я был всегда счастлив и только иногда, несколько, словно отчуждался от самого себя, когда удалялся от своего пути и, сам того не сознавая, покидал русло воли Божией. Но потом я быстро опять находил себя и по-настоящему чувствовал доступную для меня полноту жизни.

* *
*

Мы задуманы, а не только сотворены. Именно задуманы волей божественной, предположены ее надеждой, что откликнемся лично на это творение. И в каждом из нас есть неповторимое человеческое лицо, образ благой воли Божией, отражение небесной любви. И всякий раз, когда мы принимаем в себя что-то наносное для нас это вредит нам и тормозит наш путь к цели основной.

Одиночество было чуждо мне с детства, но я любил уединение. Уединение для меня всегда было — и остается — временем наибольшей жизненной полноты а также и общения более высокого, чем какая-либо человеческая общительность.

Московская весна 1918 года, после разгрома Матова, стала новым этапом моей начавшейся

страннической жизни. В Москве я поселился у двоюродного своего брата, милого, кроткого и живого Кости Родионова, в тихом небольшом доме на Большой Никитской. Костя был 23-летним молодым человеком с небольшой бородкой и мягкими чертами лица. Он был глубоко верующим, православным и очень русским человеком. Помню я московскую Пасхальную ночь 1918 года в одной из церквей, где-то около Большой Никитской и Поварской. Я стоял с Костей Родионовым среди золота свечей, ликования веры и молитвы. Колокола еще гудели над Москвой.

Костя Родионов пережил в России все годы и бури революции. И живет сейчас в Москве. В пятидесятые годы чрез сестру *) он прислал мне старую славянскую псалтирь. В ее страницы были вложены кленовые осенние листья и некоторые стихи псалмов были слегка подчеркнуты. По этим немногим подчеркнутым словам я прочел о жизненном пути человека и о его вере, о вере России. Летом 1975 года из Европы я позвонил ему по телефону, через 57 лет после последней с ним встречи в Москве и поговорил с ним. Этот разговор был почти бестелесным, но реальнейшим из реальных. Так вероятно души будут касаться друг друга в ином мире **).

Может быть, именно Костя или его старший

---

*) Младшая сестра моя Зинаида в середине 50-х годов прожила в Москве около года, как жена секретаря бельгийского посольства. Ее воспоминания об этом времени нашли свое выражение в интересной ее книге « Ma Russie habillée en URSS ».

**) Косте удалось прибыть в Париж на 3 месяца по приглашению семьи его и моего двоюродного брата, Михаила Дм. Шаховского. Он очаровал всех родственников своей живой, но неотмирной личностью.

брат Коля Родионов посоветовал мне в Москве взять для моих хлопот о матери, адвоката, вхожего к новым властям. Мать думала, что ее расстреляют. Она была переведена уже из Венева в московскую Бутырскую тюрьму, в распоряжение Дзержинского и его Чрезвычайной Комиссии, в те дни только начавшей свое дело на Лубянке в доме Страхового Общества « Россия » (символика). Учреждение это, да и сам Дзержинский, в то время еще не были знакомы русским людям. Оно и сама революция находились еще в периоде младенчества. Это и будет видно из моего бесхитростного рассказа о моем знакомстве с этим учреждением и Дзержинским.

Найденный для меня адвокат был человеком средних лет, типа « ходатая по делам ». И у него была неотразимо действовавшая в те дни визитная карточка, под его фамилией П о ч и н с к и й стояло:

И н т е р н а ц и о н а л и с т .

« Интернационалист » ! Вот, что в ту весну московскую было не только убеждением, но и званием, и даже таинственным качеством, внушавшим уважение и открывавшим двери. Починский был вхож к властям, еще не осознавшим себя, среди своих, бывших им самим в диковинку, государственных функций.

Починский стал моим Вергилием в Чека. Он написал для меня два прошения к Феликсу Дзержинскому. Первое — было прошением о разрешении мне свидания с матерью в Бутырской тюрьме. Во второй своей бумаге в Чека я просил о том, чтобы мать моя была судима в Москве. Мы были тогда еще в тех мыслях, что в Москве будет суд более беспристрастным, чем в Туле (где была пресловутая в те дни « власть на местах »).

С этими прошениями и с Починским я отправился на Лубянку. Как сейчас помню внушительную переднюю, когда-то бывшую чистым вестибюлем. Широкая лестница вела на площадку и потом раздваивалась в направлении 2-го этажа. И на этой первой площадке стоял пулемет, обращенный на входную дверь, и сидело около него несколько взлохмаченных солдат, неряшливо одетых, как обычно в те дни.

Пройдя мимо них, поднявшись на второй этаж, мы пошли направо; Починский ввел меня в полутемный неширокий, довольно длинный коридор и остановил около двери налево. Вручив мне бумаги, он сказал, чтобы я у этой двери дождался человека, который в нее будет входить, и передал ему бумаги. Через некоторое время появился этот человек в темно-серой куртке-блузе, в очень высоких, выше колен сапогах, худощавый, с небольшой головой и серовато-холодным, озабоченным и напряженным лицом. Колючие следы его бороды соответствовали его облику. Он остановился предо мною в коридоре, и я ему передал свои прошения. Пробежав глазами первую бумагу, он приложил ее к стене и наложил резолюцию: « Разрешается ». И сказал мне: « Пройдите по коридору до конца, там в канцелярии покажете и вам напечатают разрешение ». Прочитав вторую бумагу, Дзержинский сказал: « Этого я сейчас не могу решить. Мы рассмотрим дело и вам сообщим наше решение ». Отворив дверь, он ушел в свой кабинет.

Мое свидание с матерью в Бутырках было похожим на то, какое описал Лев Толстой в « Воскресении ». Два ряда высокой, до потолка, решетки и между ними пустое пространство в несколько аршин отделяло родственников от самих заключенных.

Припадая глазами и губами к решеткам с той и другой стороны, мы и заключенные старались что-то прокричать друг другу, перекрикивая друг друга и в общем гаме едва улавливая ответы. Но это все же было свидание. Я видел свою мать, стоящую у решетки в темной одежде среди арестованных. И видел, что она была утешена увидеть меня.

Через некоторое время, уже со старшей сестрой своей Валей (Варварой), прибывшей в Москву, получив вызов, я направился в Чека за ответом на второе мое прошение. Помню, как в очень большом и хорошо убранном кабинете помощника Дзержинского, Закса *), стоя с Заксом посреди богатого ковра, Дзержинский объявил нам с Валей, что исполнить прошения они не могут — мать будет отправлена, для разбирательства ее дела, в Тулу... Услышав это, сестра залилась слезами. Дзержинский, мрачно глядевший на нас, вышел из кабинета. А Закс, человек средних лет, с интеллигентным умным лицом, в пенснэ и с большой шевелюрой (чуть похожий на Троцкого, но без злого выражения лица Троцкого), видимо, был немного смущен... Чека еще только начиналась, была еще в младенческом своем периоде. Закс предложил нам сесть и сам сел за свой большой письменный стол. Подумав, он сказал : « Единственно, что я мог бы сделать для вас, это дать вам пропуск в Кремль. Один из наших товарищей на днях едет на автомобиле в Тулу. Пойдите к нему — может быть, он возьмет в Тулу с собой в автомобиль и вашу мать... » Это был акт внимания. Но, конечно, совсем ненадежный. Мы сейчас же отправились в Кремль и в доме гоффу-

---

*) Закс был в июле 1918 г. председатель первой всероссийской конференции работников ЧК.

рьеров, с его сводчатыми потолками, разыскали квартиру матроса Панюшкина. Средних лет, с ампутированной ногой, матрос сидел за самоваром со своим многочисленным семейством, стриженой женой и кучей детей. Не знаю, не находился ли там, среди детей, и будущий посол СССР в Вашингтоне Панюшкин? Если находился, то, я думаю, мы оба очень тогда удивились бы, если бы какой-нибудь пророк нам весной 1918 года сказал, что лет через 35 мы оба будем в Америке на ответственных (но столь различных) постах. Панюшкин довольно благосклонно отнесся к мысли Закса. Но, узнав после, что он был инициатором известного тогда недавнего расстрела группы офицеров в Петрограде, мы отказались от этого привилегированного путешествия матери в Тулу. Мы выведали, когда и с какого вокзала ее отправляют в арестантском вагоне и пришли с сестрой на этот вокзал. После бакшиша страже (в революциях бывает и эта простота во взаимоотношениях), мы были впущены в арестантский вагон и совершили, довольно удобно (по тем временам) путешествие с матерью в Тулу.

В Туле суд не нашел никакого материала для обвинения матери. А от крестьян деревень, окружавших Матово, поступили приговорá. Крестьяне писали, что ничего плохого они от моих родителей не видели, а видели только одно добро.

Мать была переведена в лазарет, а потом отпущена на свободу. И стала с дочерьми своими готовиться к отъезду на юг. Я был в это время на юге...

* * *

Запись сделанная в Ростове-на-Дону летом 1918 г., в клинике проф. Парийского на Садовой улице (сохранилась в бумагах матери)

Пользуюсь пребыванием в лазарете и начинаю вспоминать нашу дорогу из Тулы до Ростова. Когда мы *) на извозчике ехали по Туле, восток уже заметно яснел; мне, откровенно говоря, было немного не по себе. Уезжать при сложившейся обстановке было жутко, не сердцу жутко, а самой душе; пояснений к этому, вероятно, не потребуется. Какое-то новое чувство охватывало грудь и больно сжимало. Не было бы только ничего с мамой, а уж за других тогда можно быть совершенно спокойным; это между прочим аксиома. Я знал, что впереди что-то грозно-огромное. Говорю, что я знал, а не предчувствовал, потому что предчувствие есть сомнение, а у меня его не было; но что именно будет, я не старался догадываться: время покажет. Я не боялся, что застряну на пути или предприму какой-нибудь ложный шаг и благодаря этому чувству я был бодр и спокойно-хладнокровен. Все, что было впереди, было что-то неведомое и бездонное, впереди был абсолютный мрак, потемки.

Билеты выдавали до Мценска. В запоздавший поезд попали каким-то чудом и впервые почувствовали всю тяжесть, в полном смысле слова, наших вещей. На крыше было более ста человек и середина крыши продавилась. Милиция попыталась согнать нас, но безрезультатно. Поезд тронулся и начал развивать ход. Было уже часов 5 утра; свесив

---

*) Со мной ехал мой товарищ по Лицею, Павлик (Павел Андреевич) Самойлов, живший целый год с нашей семьей в Матове.

ноги с крыши, я смотрел на удалявшуюся Тулу и мысленно — на Матово... Конечно, многое прошло в голове...

В Мценске стояли порядочно. Взяли билеты до Курска. Начался сильный дождь. Намочил порядочно.

Днем подъехали к Орлу; по внешнему виду город не важный, мне не понравился. После часовой остановки, обитателям крыши было приказано сойти и т. к. приказание исходило от красной гвардии, все стали поспешно спрыгивать. Сошедши на землю и стащив свой багаж, мы поняли, что находимся в грустном положении. Приходилось ждать другого поезда. Без вещей мы бы уехали, держась за какой-нибудь винт.

Со вторым поездом мы выехали из Орла, когда начало уже темнеть. Приютились в товарном вагоне, населенном исключительно евреями. В три часа ночи были в Курске. Народу масса. Вдруг ко мне подходит какой-то человек в кожаной куртке, отводит в сторону, спрашивает, что « не кадет ли » тот человек ,с которым я сейчас разговаривал, и, на мой отрицательный ответ, говорит, что я « не хочу сказать » и т. д. Через несколько времени приходит еще какой-то и повторяет ту же историю. В конце концов, эти оказались кадетами Орловского Корпуса, едущими на Дон. В вагоне был еще третий кадет. Все одеты по « товарищески ».

Павлик, ходивший за провиантом, явился, сообщив, что у него украли кошелек с 80 рублями, кольцом, хранительной квитанцией и всеми документами. Пришлось порадоваться, что там было 80 рублей, а не 180. Вещи из хранения при помощи милиционера удалось взять раньше жуликов.

Тронулись в путь только часов в 7. Отсюда до

границы верст 100. Большую часть пути я провел на крыше, хотя оттуда немилосердно гнали и даже, после станции Сеченцево, взобравшись на крышу, услышал со стороны станции пулеметную очередь по сидящим на крыше.

На станции Прохоровка относил лично письмо В.А. отцу : узнал печальную новость, о чем написал В.А. Около станции Беленихино стоят сотни подвод. Все пассажиры усаживаются и тут начинается « осмотр » багажа. Берут все, что нравится, и решительно ничем не стесняются. Орудуют две заставы. Что остается после одной — дочищает вторая. Моя материя чудом уцелела только потому, что я показал красноармейцу свои до безобразия порванные брюки... У одного банковского служащего, при обшаривании, нашли 1600 рублей; оставили ему 500.

На подводах можно было ехать только до границы, где ждали сотни других подвод, уже украинских. Шел дождь и ехать по грязи было мерзко. Когда подъехали к границе, было уже почти что темно.

Мы ехали на хохлацких подводах к станции « Гостиньцево », была украинская ночь, мы вздохнули свободно и точно какая-то гора свалилась с плеч. Неприятно было только видеть пограничные пикеты германских солдат.

« Петрищево » скорей напоминает полустанок, чем станцию. Ни одного фонаря. Долго мы искали местечка, чтобы прикорнуть, и в конце концов какой-то мужик за три рубля позволил влезть в свою телегу и соснуть до рассвета. На рассвете поехали в Белгород. Я сидел на крыше и любовался меловыми горами — недавней ареной боев с ударниками. Кое-где нечто вроде окопов. В Белгороде

насытились настоящими белыми булками и прочей диковиной. Встретились с теми кадетами и ехали уже с ними до самого Ростова.

В Харькове страшно мерзко себя чувствовал, основательно болела голова. На ногах еле стоял. В приемном покое мне дали порошков, сообщив, что у меня инфлюэнция и бронхит. До Ростова думал ехать с плацкартой, но пришлось всю ночь стоять на площадке. Утром освободилось место и мы спали до Таганрога. Днем уже стали открываться поля, на которых недавно сражалась Корниловская армия... »

(Такова краткая запись тех дней моего отъезда из Тулы на юг).

* *
*

Участие мое в гражданской войне на юге России было эпизодическим и я не расцениваю его серьезно. Это было с моей стороны не зрелое дело, а мальчишеское приключение. Мне очевидно должен был быть на мгновение показан ад. В те дни немало подлинно героических людей, которым нельзя было стать легальной оппозицией властям в России, со всех концов страны сочились, как русская кровь, на юг и там проливались в землю. Оставшаяся часть их в 1919 и 1920 годах вытекла из России, составив первую эмиграцию. Кроме героев, были конечно и просто захваченные общим сумасшествием человекоубийства, перешедшего в братоубийство. Были среди военных и по инерции перешедшие в новую войну. Война стала для них жизнью.

После Октября и конца войны с Германией, загуляла эта зыбь убийств коллективных и индивидуальных. Шла она в размерах, еще не виданных

в русской истории. Война словно мстила людям за то, что они ее, без ее дозволения, закончили.

Прибыв с Павлом Самойловым, в июне 1918 года, в Ростов-на-Дону, мы сейчас же, к своему удовольствию, столкнулись с вербовочным добровольческим бюро. Нам только это и надо было и это было в сущности единственное место, куда мы тогда могли направиться, пятнадцатилетние мальчики, среди большого неведомого и солнечного города. В комнате-бюро сидел, в походной форме полковника, плотный человек в очках, с бородой и добрым лицом. Это был начальник « Отряда Особого Назначения », Всеволожский. Воинская часть, в которую он вербовал добровольцев, была первым отрядом в истории Белых Армий, нашившим на левый рукав своим добровольцам романовскую ленточку. Я стал 36-м солдатом первой монархической армии России. Отряд Всеволожского стал впоследствии ядром « Астраханской Армии », возглавлявшейся калмыком, кн. Тундутовым.

Добровольческая Армия, под командованием Деникина, преемника Корнилова, в это время шла в свой Второй Кубанский поход на Екатеринодар. На Дону единодержавно и красочно правил атаман П.Н. Краснов. Его литературно-талантливые приказы печатались в « Приазовском Крае », а немцы с Украины помогали ему оружием и свеже-отпечатанными ассигнациями « донских » и « романовских ». « Омытое в волнах Дона » (как выразился после об этом сам Краснов) оружие это шло частично и Добровольческой Армии, сохранявшей, однако, союзническую ориентацию.

Донская Армия сражалась с большевиками по всему Дону, как на шахматной доске. Единого фрон-

та не было. В России развертывалась гражданская война.

Наш отряд получил царицынское направление. Меня бы, вероятно и не приняли в него, если бы знали, что мне еще не было шестнадцати лет. Совершая грех неправды, увлеченный идеей стать взрослым военным, я сказал, что мне 17, и меня облекли в форму вольноопределяющегося. Если это не была игра, то — полуигра, и новая, интересная для нас с Павликом, авантюрная эпопея.

Мы стояли некоторое время в Ростове-на-Дону. Помню, я ездил в Новочеркасск и однажды зашел в Новочеркасский собор. Я стоял совсем сзади во время шедшей воскресной службы, а впереди, на левом клиросе, стоял с женой своей Донской атаман П.Н. Краснов... Если бы тогда какой-нибудь провидец мне сказал, что этот хозяин Дона, генерал Краснов, ровно через двадцать лет, станет моим духовным сыном (а я буду настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине) я бы счел такого провидца сумасшедшим. Еще более сумасшедшим его счел бы П.Н. Краснов. Тогда, в 1918 году, я был самым последним военным чином на Дону, а он — первым.

Наш небольшой отряд направили в только что взятую станицу Константиновскую и там обучали. Мы маршировали по станице и пели:

« Смело мы в бой пойдем за Русь Святую
И, как один, прольем кровь молодую. »

Потом нас повезли в станицу Великокняжескую, только что отбитую у большевиков. Это была другая часть фронта, который был всюду. И тут, в Сальских степях, мне пришлось принять участие в бое, на что не было для меня воли Божьей. Мы начали

наступление у станции Куберле. Стояла невыносимая степная жара. Еще сырая, тяжелая для моих детских рук винтовка, взрывы снарядов, и какая-то обнаженность человеческого зла и смерти нашли на меня. И незабываемыми остались моменты, словно ради которых я, мальчик тогда, был введен в эти человеческие страдания. И потом из них был мгновенно исхищен какой-то силой... Рядом со мной в наступающей цепи лежит этим жарким полднем, под обстрелом в Сальской степи, молодой вольноопределяющийся с немецкой фамилией; он старше меня и стреляет по противнику... Вдруг, словно от сильного толчка, он перевертывается, и я вижу, пуля угодила ему в самую грудь. И сейчас же за этим, из его горла льется самая низкая, изощренная площадная брань... Противник наступает большими силами. Надо отходить, и наша цепь отходит. А я лежу, словно в остолбенении, рядом с этим почти убитым человеком, изощряющимся в ужасающем сквернословии. И вдруг, вижу 17-летнего прапорщика Александра Голованова. Во весь рост, не сгибаясь, под пулями, идет ко мне. Его лицо вдохновенно-прекрасно. Он кричит мне : « князь, вы ранены » ? Он хочет меня вынести... Пораженный явлением высокого духа жертвы и человеческого сострадания, я вскакиваю и иду ему навстречу... Нам надо пересечь поле, вдоль железной насыпи, на которой стоит жалкий наш « бронепоезд » — старый паровоз с двумя товарными вагонами и платформой, с которой стреляет 3-х дюймовая пушка. Такие были тогда « бронепоезда ». Подобный был и у противника и обстреливал нас. Еле идя, вижу я как из-под насыпи выскакивает красногвардеец лет 17-ти, 18-ти. Как сейчас, вижу его исковерканное ненавистью лицо. Он поливает

меня такими же черными словами, какие я только что услышал из уст смертельно раненого соратника. И исступленно бранясь, он прикладывает винтовку к плечу и стреляет в меня на расстоянии шагов 50-ти... Не понимаю, как он в меня не попал... я иду к «бронепоезду» и вижу, что снаряд противника попал в паровоз, и взорвавшимся паром был обварен другой наш мальчик, 17-тилетний гимназист Нитович. Тело его обратилось в одну рану, и сестра его покрыла простыней... Я не был ни физически, ни душевно готов к этому нагромождению смерти, в этой раскаленной солнцем Сальской степи у станции Куберле... Контуженного душевно и физически, меня эвакуировали в Ростов и положили в клинику проф. Парийского, на Садовой улице. Я там отлеживался, меня поили бромом. Было ясно что — я своевольно сунулся туда, куда Богом не направлялась моя жизнь. И какой-то силой я был изъят из *этой формы войны* в мире. Меня ожидали в жизни другие ее формы. Из госпиталя, где мне исполнилось 16 лет, освобожденный из армии я поехал, чрез только что завоеванную Добровольческой армией Кубань, в Новороссийск, в то именье тетушки, о котором я упомянул. Там я нашел нужную, для моего полного восстановления, обстановку.

Товарищ мой, Павлик Самойлов, остался в Астраханском Казачьем войске, оперировавшем с Донской Армией. Позже в Крыму, я его встретил работающим в Никитском Саду. Где он сейчас — не знаю. Заграницей я его не нашел. Если бы он был жив, он отыскал бы меня. Единоутробную его старшую сестру, урожденную Суровцову, по мужу Голдгойер, я встретил в Ницце. Эта жертвенная душа все силы свои отдавала Ниццкому Собору, Се-

стричеству, помощи людям. Она тоже ничего не знала о Павлике.

В Новороссийске меня потянуло в Тулу к семье, о которой я ничего не знал. Я приплыл в Севастополь и сразу пошел к своей тетке, двоюродной сестре моей матери, Гали Анатольевне, по мужу Чириковой и урожденной Чириковой, жене морского офицера. Безумная мысль овладела мною — пробраться обратно в Тулу, и там узнать, что с семьей (от нее я не имел известий со дня отъезда из Тулы). Вера двигала меня. Добыв себе какое-то неясное и ложное удостоверение об учении в Севастопольской Гимназии, в своей полувоенной одежде, кожаной куртке и высоких сапогах (иной одежды не было), я стал пробираться поездами на север... Это было время не моего только, но и коллективного русского сумашествия (наиболее обычная форма коллективизма). Я был тоже сумасшедшим. Помню как на станции Ворожба (отдав себе все-таки отчет в опасности предприятия), походив около серого здания станции, я освободился от всех своих старых документов, засунув их за почтовый ящик на стене станции. (Не лежат ли они и до сих пор там ?). После этого я взобрался в товарный поезд, идущий к первой советской станции России. Доехав до нее, я прокрался в другой товарный вагон поезда, идущего на север, и забрался за доски. Притаившись там, я ясно слышал, как какой-то комиссар (очевидно ища меня) кричал и отворял двери вагонов. Я пролежал в углу. Вагон заполнился народом, поезд пошел вглубь России. Слившийся с вагонной крестьянской толпой, я доехал до Тулы и пошел к семье исполнявшего обязанности тульского предводителя дворянства Долино-Иванского. Открывшие, на мой звонок, двери Долино-Иванские

почти остолбенели, увидев меня. Ни о чем меня не спрашивая, они закричали: «Бегите на такую-то улицу, в такой-то дом — ваши сейчас уезжают!»... Я бросился по указанному адресу, там на извозчика уже складывали свои чемоданы мать и сестры, отъезжавшие на юг, откуда я только-только прибыл. Имя мое, как несовершеннолетнего сына, оставалось в старом паспорте матери, и только благодаря этому, я снова смог выехать на Украину. При переходе границы, у Белгорода, меня положили на дно телеги, закрыв женским тряпьем. Очевидно, мне не надо было оставаться в России. Иначе, я бы, хоть на час, опоздал прибыть в Тулу, в этот день своего вторичного спасения от октябрьских русских судеб.

IV

Мать и мы, ее четверо детей, перебравшись на Украину, остановились в Харькове. Бывшие воспитанницы Екатерининского Института в Петрограде, сестры поступили в Харьковский женский Институт, а я заболел брюшным тифом. Больше двух недель я был в большом жару без сознания и выжил только благодаря денному и нощному уходу матери. Тиф был в такой острой форме, что после него я ослеп и оглох. Когда, пережив болезнь, бледный и худой, я стал делать первые шаги, большевики приближались к Харькову, и мать снарядила меня к отъезду и посадила в вагон, ехавший на юг. В пути поезд был остановлен махновцами, вылавливавшими военных. Болезненного вида юноша 16-ти лет, лежавший на верхней полке, не привлек внимания махновцев. Добравшись до Новороссийска, я снова поселился в уединенном именьице моей grande tante, Надежды Алексеевны Трубецкой, « Пустынке ». Это горное именьице лежало в лесистой лощине, на 18-й версте от Новороссийска по Геленджикскому шоссе, около Кабардинки. В уединенной этой усадебке жили служащие Трубецкой, сторож Наум и его жена. Я поселился в доме и, впервые в

жизни, оценил тишину и радость уединения. Ослабленный мой организм требовал покоя и еще больше требовала его моя душа. Я жил тихо, читал и отдыхал в этом горном ущелье. Жена Наума готовила пищу, Наум ездил в город доставать, когда что надо было. И тут, в тишине, впервые в жизни, мое внимание было остановлено на духовном мире, на самых его понятиях. Я прочел с интересом бывшую в библиотеке тетушки книгу какого-то француза Виктора Сегно. Никогда после я не встречал его имени. Это было пояснение духовного мира простыми словами, объяснение мистического взгляда на мир. Я не помню, что было в этой книге, но какое-то семя « духовности » там было и оно во мне посеялось. В книге был новый для меня подход к жизни. Впрочем, об этом я долго не размышлял. Мне шел семнадцатый год и, подкрепившись силами, я почувствовал необходимость активности. Приобрел я себе верховую караковую лошадь, и на ней, надев свою папаху-кубанку, стал ездить в сторону Новороссийска. Там, около Цементного Завода (из-за которого зимой с гор дуют знаменитые Норд-осты), жила по своим дачам небольшая колония петербуржцев и москвичей. Одна большая дача там принадлежала милейшей старушке, Ольге Викентьевне Козловской, приятельнице тетушки Трубецкой. Когда я посетил ее, она уговорила меня переехать к ней и прожить у нее зиму. Я к ней и переехал. В большом ее доме жил еще с женой генерал Евгений Николаевич Волков, вскоре, в 1919 году, назначенный Деникиным губернатором Новороссийска. Он заменил на этом посту генерала Кутепова. Помню, Кутепов с телохранителем, вооруженным винтовкой, приезжал к Волкову на дачу Козловской.

На берегу Новороссийского залива, из которого торчали мачты недавно затопленных русских военных кораблей, жили в своих дачах хорошие люди. Жила семья графини Белевской, бывшей замужем за сыном (от морганатического брака) Вел. Кн. Алексея Александровича и Жуковской, с сыном и дочерьми моих лет, веселыми девушками. Жили там на своей даче и директор Эрмитажа гр. Д.И. Толстой, со своей женой и дочерью Ириной.

Под Новороссийском я прожил до весны 1919 года, когда встретил на улице свою тетушку Гали Чирикову и ее мужа, морского офицера Николая Сергеевича, пришедших из Севастополя на минном заградителе « Дунай ». Н.С. Чириков, старший офицер корабля, предложил мне (уговаривать меня долго не надо было) поступить в специальный воинский отряд на их корабле, составленный, главным образом, из офицеров. В задачу отряда входило охранять корабль от его собственной команды (в те времена, не всегда надежной). Так я стал моряком. И вскоре мы пошли на « Дунае » в плавание по черноморскому побережью чрез Туапсе, Сочи и Батум в Трапезунд. В Трапезунде, по заданию ген. Деникина, нам надо было забрать у турок военное снаряжение и боеприпасы ,оставленные там царской армией. И мы едва там не окончили свои земные пути. Неизвестные нам силы (вероятно, это были сами турки) взорвали этот склад русских снарядов и динамита, бывший в 3-х километрах от города. Взрыв был такой силы, что разрушилась часть города. Черни турецкой стали внушать, что взрыв — дело наших рук. Нам пришлось принять осадное положение и — отойти в море.

Во время этого взрыва я был в кубрике, помещении с деревянными койками. Взрыв, потрясший

корабль, сломав перегородки, обрушил их на меня. Произошло замешательство на всем корабле. Отдыхавший в своей каюте командир корабля, кап. 2-го ранга А.П. Лукин, выскочил на палубу в белье, а находившийся на палубе боцман почему-то бросился в воду, хотя корабль стоял пришвартованным к молу. Показались окровавленные лица. Удар взрыва был подобен удару палкой по каждому нерву. И с палубы « Дуная » мы увидели, как половину неба быстро заволокла черная туча. Никого из турок не подпуская к кораблю, развив пары мы вышли в море.

Н.С. Чириков предложил мне остаться во флоте. Летом или осенью 1919 года ,прибыв в Севастополь, я был зачислен во флотскую Беспроволочно-Телеграфную Школу, помещавшуюся на блокшиве « Березань ». Я закончил эту школу и, как « охотник флота первой статьи », был назначен на должность радиста на крейсер, бывшую импер. яхту « Алмаз ». Кораблем командовал Н.С. Чириков.

В 1919 году мать и сестры добрались из взятого белой армией Харькова до Новороссийска и поселились в доме Трубецкой, близ Кабардинки. Когда я их там навестил, произошло нападение на нас банды зеленых. Идя от моря в свою лощину после купания, мы увидели бегущих с горы неряшливых вооруженных солдат. Они только что побывали в доме и ограбили его. Остановив нас, они велели нам идти вперед и стали щелкать затворами винтовок. Было естественно думать, что настала наша последняя земная минута. Мы шли, как в тумане, не оглядываясь. Но выстрелов не последовало, хотя я был в морской форме белой армии. Нам предстояло идти еще дальше по земле.

Радиотелеграфная рубка крейсера « Алмаз »

была моим последним русским жилищем. Летом 1920 года, как не достигшего еще 18 лет меня демобилизовали из Черноморского военного Флота и я был принят сейчас же на службу в « Русское Общество Пароходства и Торговли » (РОПИТ), радистом на пароход « Цесаревич Георгий », тоже демобилизованный и ставший, из вспомогательного крейсера, вновь пассажирским пароходом. В день моего отплытия из Севастополя меня пришли проводить друзья мои, молодежь, с товарищем моим по Лицею, Дмитрием Кугушевым.

Помню этот последний мой русский день... « Цесаревич Георгий » отчалил от Графской Пристани и медленно вышел в морской простор. Я стоял на корме и смотрел на пенистый след от парохода, на бледнеющие очертания Крымского берега. В своей поэме « Упразднение Месяца », написанной к 50-ти летию « Октября », я несколько патетически описал это расставание с Россией.

Как-то всё легко, само собой, сложилось с моим отъездом из России. Мать и сестры были уже на Принцевых островах, эвакуированные в 1919 году англичанами из Новороссийска. Положение мое на корабле, в качестве радиста, было удобное и независимое, — у меня была отдельная хорошая каюта и приличное содержание.

После остановки в Варне, где я вел себя легкомысленно (увлеченный свободой молодости, я там — не осознавая того — свершил свой первый грех вне России), « Цесаревич Георгий » прибыл в Константинополь. Я поехал на Принцевы Острова и там встретился с матерью и сестрами. На этих островах началась для них и для многих русских людей беженская жизнь в мире. В моем сборнике « Странствия » есть такие строки :

« На этих островах мы начали скитанье,
Как будто дальний голос нас позвал,
И с Русью совершилось расставанье ».

Уже создавались русские зарубежные организации. Мать работала в Красном Кресте, что-то еще общественное организовывала. В одной вилле были ей и ее дочерям предоставлены комнаты. Это беженство было еще не полным отрывом от России. Врангель держал еще русскую территорию. Русское посольство в Константинополе имело некоторое влияние. В Константинополе, РОПИТ меня перевел с « Цесаревича Георгия » на транспорт « РОДОСТО », большой, бывший турецкий корабль, взятый русскими в плен. Ему намечалось широкое плавание по морям. Капитаном и офицерами корабля были русские офицеры, моряки, милые люди, принявшие меня приветливо в свою среду. Имея и тут хорошую каюту, на верхнем спардеке, около своей радиорубки среди корабля я чувствовал себя прекрасно, готовился плыть по миру и, после Средиземного моря, повидать океаны. После двухнедельного пребывания в Константинополе, я отплыл в Геную.

В Генуе произошло нечто невероятное, но характерное для того времени. « Родосто » захватили в Генуе... большевики. В Италии была тогда анархия (приведшая вскоре к фашизму). Делая « мировую революцию », Ленин бросал все средства для расшатывания политической и экономической жизни Европы, еще не оправившейся от войны. Советский генеральный консул Водовозов, как некий проконсул Москвы, правил генуэзским профессиональным союзом портовых рабочих. Узнав, что в Геную прибыл корабль, принадлежавший некогда русскому правительству и управляемый русскими белыми

офицерами, Водовозов приказал итальянцам захватить « Родосто ». Рабочие Генуи его и захватили. Нам, служащим корабля (которые во время стоянки в Генуе, взволнованные свободой, летними днями и встречей с Италией, вели себя очень легкомысленно), дали милостивый расчет, уплатив содержание за шесть месяцев вперед. С этим « капиталом » я, восемнадцатилетний юноша и въехал в 1920 г. в Париж, окончательно войдя во вторую часть своей юности — европейскую.

На целых 25 лет Европа стала моей « второй родиной ». И Париж был всё это время ее столицей.

В Париже вскоре я вошел в жизнь семьи своей тетушки, Марии Анатольевны Шаховской, вдовы двоюродного брата моего отца, Владимира Алексеевича Шаховского, полковника кавалергардского полка, состоявшего, вместе со своим братом Леонтием Алексеевичем, при великом князе Николае Николаевиче и вместе с братом своим расстрелянного в Пятигорске, после октябрьской революции. Тетушка Мария Анатольевна, жила в доме своей, совсем престарелой, тетушки, княжны Любомирской в Версале, с двумя младшими дочерьми Татьяной и Оксаной. Тетушка была очень энергичным человеком, характерной целостности и прямоты, но не всегда легкой для окружающих, особенно для ее детей. От ее крутого нрава и опеки сбежали (выйдя замуж без ее благословения) две из пяти ее дочерей. Старшая, замужняя, София Щербатова осталась в России. Приехав во Францию, тетушка сразу организовала свое ателье вышивок « Вазерки » (по имени их тамбовского имения). Ее дочери Татьяна и Оксана вышивали разнообразные художественные вещи и учили этому других. С петербургскими дамами тетушка устраивала в Париже

выставки своих художественных работ. Это был их заработок. Французская знать тогда помогала этим первым в Европе, когда-то богатым, а теперь обедневшим русским эмигрантам (бельгийское общество помогло моей матери). Ряд французов знали тетушку по Петербургу. Тетушка была, как я сказал, крута и обладала немалой гордыней. Ее милейший и смиреннейший младший брат, кн. Иван Анатольевич Куракин, бывший министр Архангельского правительства, стал позже священником во Флоренции и пред своей кончиной был рукоположен в епископы в Париже на рю Дарю.

Я начал учиться с 1921 года в Париже в Ecole Libre des Sciences Politiques и жить чисто светской, во многом, увы, легкомысленной жизнью. Но эти два года парижских — 1920-1922 — были полезны для общего моего развития. Моя жизнь в эти годы была суетная, с перспективой стать еще более пустой. Она вливалась в меня многообразно и оставляла в моей душе опыт, не всегда положительный, но после как-то и пригодившийся мне в моей пастырской жизни. Промысл Божий, как бы *показывал мне всё, что люди считают самым лучшим, ценным в мире* и к чему все стремятся, в чем видят единственную ценность жизни.

Мои товарищи-лицеисты, оказавшиеся в Париже, привлекли меня в свой, скорее праздничный, чем трудовой круг. Граф Марк де Бомон, вице-президент Union et Cercle Interallié (президентом его был маршал Фош) опекал меня отечески и я одно время жил с его семьей. Он даже проектировал меня женить. По его заботливой мысли, эта женитьба должна была бы с лихвой обеспечить материально всю мою жизнь и даже высокий ее

стандарт. Но я был глух к этому его отеческому проекту.

В 1921 году я познакомился с Ив. А. Буниным, и у него в доме с Б.К. Зайцевым и М.А. Алдановым. Так началось мое соприкосновение с миром писателей и поэтов, миром интересным для меня и незнакомым. Эти два парижских года, хотя и были насыщены суетой, но тут, я думаю, стало таинственно совершаться и мое внутреннее созревание. Моя мать и сестры обосновались в Бельгии и мать выхлопотала мне в Бельгии стипендию для учения в Лувенском университете. К началу академического 1922-23 года из парижского шума я переехал в тихий, еще лежавший от войны в развалинах, Лувен.

* * *

Я поступил в один из старейших университетов Европы, на его экономическое отделение. После завершения соответственных семестров, получив первый сертификат, не чувствуя влечения к экономике, я перешел на историческое отделение философско-словесного факультета. Я принадлежал к первой группе русского студенчества, поступившего в Лувенский университет осенью 1922 года. Мы были люди разного возраста, многие из нас прошли гражданскую войну как офицеры, а иные участвовали даже в первой мировой войне. Но были в этой группе и восемнадцатилетние русские юноши. Мне было 20 лет.

Заведывали бельгийской помощью русским студентам два добродушных провинциальных аббата, братья Дерсель. Они аккуратно выдавали нам полагающееся пособие. Мы снимали комнаты в частных

домах этого тихого города, и нас кормили в столовой общежития, где жила часть студентов.

Сейчас это не в диковинку у католиков; но тогда это было ново: экуменизм кардинала Мерсье, его толерантность и широта взглядов братьев-католиков, организовавших в Бельгии помощь первому беженскому поколению русских людей. Помощь эта не стесняла ни в чем нашего православного сознания. В Лувене устроилась позже (первая со дней основания университета в XV веке) православная церковь. Но в мое время первой половины двадцатых годов, мы ездили по праздникам в Брюссель, где жили наши семьи, и ходили в намоленную домовую, бывшую русскую посольскую церковь Святителя Николая Мирликийского Чудотворца на 29 rue des Chevaliers. О ее настоятеле, о. Петре Извольском, бывшем обер-прокуроре Российского Синода, я скажу далее.

В тихом Лувене, на одной тихой его улочке, в доме, выходившем в сад, протекала моя жизнь, — спокойное учение, сдавание зачетов, чтение, студенческие беседы и начавшееся развиваться отдохновительное для меня пристрастие к поэтическому « рукомеслу ».

Этот стиль жизни заменял мне и спорт, и музыкальные и прочие увлечения студентов... Первое мое стихотворение появилось в печати в майском номере 1922 года в толстом журнале « Русская Мысль », только что переведенном П.Б. Струве из Софии в Прагу. Как сейчас помню я ту ставшую блаженной минуту, когда читая 1-й том Воспоминаний кн. С.М. Волконского « Быт и Бытие », я вдруг (так это было неожиданно) увидел цитату из своего стихотворения. Я не верил глазам своим. Волконский процитировал последние строчки этого моего

первого печатного стихотворения. Конечно, оно было о России (мы только и думали тогда об этом):

« Хотя прекрасны дни былые,
И ныне чужд родимый край,
Но ты молчи, моя Россия
И голосов не подавай.

Пройдут года, ты скажешь слово
Тобой зажженное в ночи,
Но на закате дня людского
Ты, униженная, молчи.

Молчи и верь словам поэта:
Быстроизменчивы года. —
Бывают ночи без просвета,
Но без надежды никогда ».

В Германии, в Сант Блазене (Шварцвальд) в 1923 году скончался от туберкулёза мой друг и двоюродный брат, « Агу », Дмитрий Дмитриевич Шаховской, лицеист 77-го курса, живший ранее во Франции, талантливый художник-архитектор. Помню, в 1921 или начале 1922 мы с ним посетили собрание молодых русских философов на квартире Фундаминского-Бунакова в Париже. Потом обсуждалась главная тема этого собрания среди ночного Парижа, мысль близкого к православию немецкого философа Баадера. Среди бывших там вспоминаю студента Сорбонны, Всеволода Кривошеина (ставшего в 1925 году афонским иноком, а ныне являющимся архиепископом Брюссельским и Бельгийским), Лаврова, А. Карпова, ученика и секретаря Мережковских Вл. Злобина, старшего сына Н.О. Лосского, Владимира.

В 1923 году я посетил Германию и навестил своего больного двоюродного брата в Шварцвальде и провел некоторое время в Берлине. Тогда еще там

был центр русского ученого и литературного мира. Я познакомился в Берлине со всей семьей Вл. Д. Набокова, его сыновьями Владимиром и Сергеем, с молодым поэтом Глебом Струве, Вл. Корвин-Пиотровским и другими. В моей памяти остается от этой поездки в Германию один эпизод. Ожидая поезда в Карлсруэ я пошел по городу и зашел в театр на представление еврейской молодежи, игравшей с подъемом очень характерную, боевую и веселую пьесу о возвращении в Палестину. Настроение в театре было очень приподнятое, все артисты и зрители друг друга знали, и мне было забавно, как они в антрактах на меня смотрели с детским любопытством, силясь определить, как и откуда я явился. Искренен был энтузиазм этой молодежи. Вряд ли кто-нибудь из них в то время отдавал себе отчет в близящемся возникновении в Германии черного вихря, налетевшего на евреев через 10 лет. Эти энтузиасты спаслись от Смерча.

Изданный в Париже в 1924 году мой второй сборник стихов : « Песни без слов », встретил некоторое благожелательное внимание критиков. Он был шагом вперед, считал К.В. Мочульский, по сравнению с юношеским сборничком 1923 года : « Стихи ». Третий сборник моих стихов « Предметы » вышел пред моим отъездом на Афон, в 1926 году, но в продажу не поступал. Подписанный только одной моей фамилией : Шаховской, он был разослан лишь некоторым друзьям и литераторам.

До 1926 года (времени пострижения в монашество) я печатался в разных периодических изданиях русской эмиграции и, кроме стихов, напечатал несколько религиозно - литературно - философских очерков в Праге и в парижском журнале « Путь » Бердяева. Все это « косноязычно », с моей сегодняш-

ней перспективы; но даже в незрелости этого писания, можно угадать какое-то все же подлинное (как мне видится) стремление к последней Божьей правде. Искание этой правды зрело во мне в эти годы, хотя я не отдавал себе в том отчета. Поэзия помогала мне отходить от внешнего мира в мир внутренний.

В 1924 году я задумал издание религиозно-философского сборника и начал переписку с сыновьями Е. П. Ковалевского, Петром и Евграфом, жившими во Франции, с К.Э. Керном и Н.М. Зерновым в Югославии. Идея религиозного Сборника у меня перешла в интенсивную мысль о журнале русской литературной культуры. И в 1925 году я начал редактировать журнал, мной названный (не без романтической стилизации) « Благонамеренным ».

(« ...Могу ль себе ее представить
С Благонамеренным в руках »...)

Журнал не был ни подражанием Измайлову, ни началу XIX века, а связью с Пушкиным и Россией. Строчка из « Евгения Онегина » оказалась достаточной для журнального направления. Близкую романтике александровской эпохи обложку нарисовал молодой русский художник, живший в Брюсселе, Фрешкоп. А преуспевший в материальном отношении мой однокашник по Лувенскому университету (значительно старший меня по возрасту) Г. Соколов предложил быть издателем журнала. Он хотел только, чтобы его имя стояло недалеко от имени Редактора и он был назван « Руководителем ». (Ни в какие литературные и редакционные дела он не вмешивался и был вообще далек от этой области).

« Благонамеренный » стал данью чистой литера-

туре. И России, конечно. В эти годы мы не только думали о России, а жили ею. Я сказал, что поначалу хотел издавать религиозно-философский сборник. Религиозная сторона жизни, начиная со второго года моего пребывания в Бельгии, то есть с 1923 года, как-то странно все более начала меня тревожить и очень радовать. Процесс шел вне моего сознания, параллельно моему погружению, иногда суетному, в человеческую жизнь. Я начал видеть свой собственный опыт жизни. Он изменялся.

Я наезжал в Париж. Входя в общение с русскими писателями, каким-то чувствительным краем своей жизни я входил в литературу. Бывал у И.А. Бунина и ценил его отечески-дружественное ко мне отношение. В 1924 я прожил у Бунина на даче « Бельведер » в Грассе часть лета, когда Бунин писал « Митину любовь ». Рядом жили Мережковские.

Бунины тепло ко мне относились. В моей памяти остался очень меня удививший момент, когда я увидел Бунина собирающего свое грязное белье, чтоб отдать его в стирку. Его выражение лица — это меня удивило — было совершенно непохоже на его обычное выражение, так оно было смиренно и человечно. Подобные наблюдения заставляли мою мысль делать свои выводы... Помню, как мы с Буниными тогда в Грассе пришли к Мережковским. К их саду в это время подошла коза и за ней мальчик-пастух. Помню вдруг появившееся восторженное выражение на лице Дмитрия Сергеевича, ставшего глядеть на козу и совсем не замечавшего милого, скромного мальчика в очень бедной одежде... Но ребенок был и эстетически — ярче козы .Мне показалось это эстетическое восхищение Дмитрия Сергеевича характерным для его мистического вос-

приятия мира. Это восприятие словно обходило человека (может быть, этим и объясняется его отстраненность в жизни от людей).

Меня увлекала русская религиозно-философская мысль. Начался ее рассвет в Европе, в Париже, соприкосновение русской эмиграции с Западом. Помню в Париже блестящую философскую беседу русских философов Бердяева, Вышеславцева и других с молодым еще тогда неотомистом Жаком Маритеном, о. Лабертоньером и другими. Русские философы, имевшие уже некоторый опыт эсхатологический притягивали к себе западную мысль. Русским мыслителям было по пути и с экзистенциалистами. Западные мыслители раскрывали свои сердца пред мученическим христианством Востока.

В 1924 году в Брюсселе я стал членом бельгийского Пен-Клуба и принимал участие в литературных приемах, которые Пен-Клуб устраивал в эти годы : Поль Валери, Бласко Ибаньес, братья Торо, Честертон, Поль Клодель... Наибольшее впечатление на меня произвел Честертон. Я тогда прочел его книгу « Orthodoxy » и очень оценил этого писателя острой мысли и глубокой личной веры. Поль Валери, один из лучших поэтов нашего века, для меня был все же некой блестящей и чудесной ледяшкой. Другой большой поэт, Клодель казался слишком громким и многословным. В поэзии, да и в жизни, я склонялся к камерному звуку.

Переписка моя тех лет, оставшаяся в редакционном архиве « Благонамеренного », сохранившись в бумагах матери, показывает, как я склонялся к религиозно-философскому изданию, а потом остановился на идее журнала чисто литературного, которому однако хотел придать своеобразное направление, не « правое » и не « левое », а независи-

мое. Это была попытка служения культуре русского слова, русскому духу в свободе, которой мы опьянялись в Европе, видя то, что происходит в России.

Вышли две толстых книги « Благонамеренного ». Но уже с первых месяцев 1926 года, в самый разгар своего редакторского успеха, я стал чувствовать себя пленником какого-то странного внутреннего глубокого процесса, который совершался во мне и изменяя меня, отгораживал все более от пути, по которому я шел... И я начал, наконец, понимать, что не могу идти по этому пути, а должен пойти по другому. А по какому — неясно было для меня. И к чему-то новому все неудержимее поворачивалось мое сознание.

Материалом к этому последнему периоду моей светской жизни может служить (сохранившийся, в основном) редакторский архив « Благонамеренного », эти тронутые временем страницы писем русских писателей, поэтов и литературоведов 20-х годов. Странно сейчас перелистывать эти страницы. Будто это ты и — совсем не ты. Но письма воссоздают эпоху русской эмиграции этих лет. Это человеческий документ русского зарубежья, той его начальной эпохи, когда русская эмиграция только начала осознавать свою духовную миссию и свободу.

Мы не считали себя тогда оторванными от России. Только что вышедшие из ее недр, вернее вырванные с кровью из ее плоти, мы были кровью и плотью России, ее продолжением в мире. И это осознавали. Политическая интерпретация эмиграции в Сов. Союзе грешит односторонностью и не объективна в оценке той Зарубежной России, которая « с севера, запада, юга и востока » вылилась со своей родины на просторы мира и

служила ей своим свободным русским словом, своей свободой и трудной для многих жизнью.

Странно было бы преувеличивать историческое значение русской эмиграции. Но нельзя его и преуменьшать. Мы были органической частью России. Мы были подобны большому кораблю, который, выйдя из родной гавани, зажил своей, по-своему полной, жизнью, ощущая впрочем, что он лишь часть целого, что он лишь корабль своей родины, а не ее гавань. Этот корабль поддерживал с родиной « радиосвязь », принимал иногда шлюпки с « твердой земли » и сам отпускал от себя шлюпки на эту землю... Связь корабля с гаванью была не только в том, что он к ней формально оставался приписан, — она была в бóльшем : корабль был частью Родины в водах мира.

Меня поддержала помощь Бунина в начале моей деятельности литературной и редакторской. Помогли мне и парижские поэты и особенно мэтр тех дней, Владислав Ходасевич. Другой (по своей направленности) поддержкой мне были А.М. Ремизов, Д.П. Святополк-Мирский и Марина Цветаева, которая посвятила мне одно из хороших своих стихотворений : « Старинное благоговение » (публикуя его в своем журнале, я не решился напечатать ее посвящения).

Старинное благоговѣнье *

Кн. Д. А. Шаховскому

Двухъ нѣжныхъ рукъ оттолкновенье —
Въ отвѣтъ на ангельскія плутни
У нѣжныхъ ногъ отдохновенье,
Перебирая струны лютни.

Гдѣ звонкій говорокъ бассейна,
Въ цвѣточной чашѣ откровенье, —
Гдѣ передъ робостью весенней
Старинное благоговѣнье?

Окно, свѣтящееся долго
И гаснущій фонарь дорожный...
Вздохъ торжествующаго долга —
Гдѣ непреложное: „не поздно"...

Въ послѣдній разъ изъ мглы осенней
Любезной ручки мановенье...
Гдѣ передъ крѣпостью кисейной
Старинное благоговѣнье?

Онъ пишетъ кратко и не часто...
Она, Психея безтѣлесно,
Читаетъ стихъ Экклезіаста
И не читаетъ Пѣсни Пѣсней...

А пѣснь все та же — безъ сомнѣнья!
Но — въ Богѣ все мое имѣнье —
Гдѣ передъ Библіей съ гербами
Старинное благоговѣнье?

—

Марина Цвѣтаева

Москва, 1920 г.

*) Стихи, представленные на конкурсъ „[illegible]" и не удостоенные помѣщенія.

М. Ц.

СТАРИННОЕ БЛАГОГОВѢНЬЕ *)

Кн. Д.А. Шаховскому

Двухъ нѣжныхъ рукъ оттолкновенье —
Въ отвѣтъ на ангельскія плутни
У нѣжныхъ ногъ отдохновенье,
Перебирая струны лютни.

Гдѣ звонкій говорокъ бассейна,
Въ цвѣточной чашѣ откровенье, —
Гдѣ передъ робостью весенней
Старинное благоговѣнье ?

Окно, свѣтящееся долго
И гаснущій фонарь дорожный...
Вздохъ торжествующаго долга —
Гдѣ непреложное : « не можно »...

Въ послѣдній разъ изъ мглы осенней
Любезной ручки мановенье...
Гдѣ передъ крѣпостью кисейной
Старинное благоговѣнье ?

Онъ пишетъ кратко и не часто...
Она, Психеи безтѣлеснѣй,
Читаетъ стихъ Экклезіаста
И не читаетъ Пѣсни Пѣсней...

А пѣснь все та же — безъ сомнѣнья !
Но — въ Богѣ все мое имѣнье —
Гдѣ передъ Библіей семейной
Старинное благоговѣнье ?

Марина Цвѣтаева

Москва, 1920 г.

---

*) Стихи, представленные на конкурсъ « Звена » и не удостоенные помѣщенія. (М.Ц.)

Ценна была мне дружественная помощь литературоведов М.Л. Гофмана и К.В. Мочульского (который как-то приехал ко мне в Лувен).

С Гофманом я познакомился в парижской квартире-музее умиравшего в тяжких томлениях Александра Федоровича Онегина. В те дни Гофман был прислан от Петроградской Академии, для приема ценной пушкинской коллекции Онегина. Я приходил к этому, с тоской и раздражением умиравшему старику, не только, чтобы видеть литературные сокровища его пушкинианы. Я узнал от него, что он не верует в Бога (это был тип русского « шестидесятника »), и мне было его жаль, по-юношески, и я хотел его убедить, что т а к нельзя относиться к Высшей действительности мира, куда мы все идем. Неумело я пытался помочь старику найти душевный мир и веру в Бога. Слово мое было слабо, для него неубедительно, и не смягчило всей горечи этого умиравшего человека, который ко мне относился с добром.

После его смерти М.Л. Гофман получил ценнейшую литературную коллекцию и давал мне кое-что из нее для публикации. В архиве « Благонамеренного » наиболее « личны », живы, письма Владислава Ходасевича и Марины Цветаевой *).

В 1925 году летом я ездил в Италию, ходил по Умбрии и около Везувия, по его покрытым лавой городам; осматривая святыни и катакомбы Рима, удивлялся языческой хладности собора св. ап. Петра (насколько ближе мне были простые церкви Ум-

---

*) Эти последние опубликованы в книге « Неизданные письма Цветаевой ». Под ред. Г.П. и Н.А. Струве. Париж, 1972. Последнее письмо Цветаевой не дошедшее уже до меня от 1 июля 1926 года сохраненное сестрой моей Зинаидой и мне сейчас переданное я публикую в этой книге.

брии). Помню, пошел я в Риме в воскресенье к литургии в русскую церковь, бывшую на Piazza Cavour. Там служил видный брюнет архимандрит Симеон (после службы помню встретил там своего одного парижского приятеля, Арапова). Год 1925 был Священным для католиков, и знакомые добыли мне билет на папскую аудиенцию. Я был смущен надписью на этом билете: « gratisso » — « бесплатно ». Подчеркивание бесплатности входа к апостолу Христову мне казалось безвкусием... Был я и на Капри, но не знал, что в тех местах, в то время, жил Максим Горький. Упоминаю об этом, так как вскоре выяснилось, что в этой моей совершенно невинной поездке в Италию (во время которой было мной написано несколько стихотворений, вошедших в книгу « Предметы ») Бунин усмотрел нечто такое, из-за чего хотел уклониться от своего обещанного сотрудничества в « Благонамеренном ». Бунин подумал, что я поехал в Италию на свидание с Максимом Горьким, произведениями которого (делаю исключение для постановки « На дне » Московского Художественного Театра) я столь же мало интересовался, как произведениями Боборыкина, Писемского, Шеллера-Михайлова и даже Салтыкова-Щедрина, сухая манерность которого и специализация на нравственном социальном гротеске, не увлекали меня. Мне удалось разубедить Бунина, мне написавшего: « ... любящий Вас (если Вы не были у Горького) Ив. Бунин ».

Бунин прислал мне свой замечательный материал — «Воды Многие » (одна из вершин русской прозы), узнав что я не видел Горького. Эпизод, характерный для Бунина и для тех дней. Вижу в одном из его писем его подозрение что даже Вяч. Иванов — « большевизан ». Я не представлял себе,

Мой дорогой,

Я ничего не могу сейчас послать Вам, я почти все отдал „Возрождению". Кроме того я должен снова посмотреть Ваш журнал. Вот Вы были в Сорренто, м. б., и у Горького были... Извините мнительность и не сердитесь на меня..

Любящий Вас (если Вы не были у Горького)

Ив. Бунин

Письмо Ив. Бунина. (Сомнения его рассеялись, — я Горького в Италии не встречал.)

сколь много подводных камней (и даже нелепых корчаг) таит в себе литературный мир и как сложно редакторское дело. Но редакторству своему литературному я обязан многим. Оно обострило во мне любовь к русскому слову и углубило понимание того, чему должно служить человеческое слово, что оно должно нести. Самые несогласия и недоразумения тех лет послужили созреванию ума и чувств и ускорили мое движение по тому пути, по которому вел мою жизнь чудесный и кроткий Промысл.

Мне странно сейчас видеть в редакторских своих материалах того времени мою юношескую смелость, с которой я (хотя и не без поэтического косноязычия) обрушивался на то или другое. В своих рецензиях, оценках и пристрастиях тех лет, как и в своих эпиграфических высказываниях, напечатанных во II-м томе «Благонамеренного», я вижу сейчас то метафизическое зерно, к которому тогда все более обращалась моя поэзия и жизнь. Под корой литературных явлений чудесного русского слова (коему я остался верен) душа моя находила свой путь, освобождалась от тонкого увлекательного и пустого плена вещей.

В этот последний период моей светской жизни, со мной стали происходить, не бывшие ранее, значительные явления *и пневматологические феномены*, смысл и религиозную важность которых я понял только позже. Эти мистические реальные феномены были внутренним отделением меня от моего всецело отданного литературе пути. На нем, очевидно, я не только стоял, но по нему уходил от того, что предназначалось мне. Путь литературы мне тоже был дан лишь как ступень. В этом был самый глубокий смысл моего соприкосновения с культурой тончайшего русского слова. Во мне созревала и все более осознавалась радостная для меня с детства языковая русская стихия... Но только потом я понял, что ее цель — служить ценностям, выше ее стоящим.

Несомненно, в моей юности мне был показан мир слова и я был проведен чрез общение с ценнейшими служителями русского слова. Но я был и остановлен на пороге в себе замкнутой языковой культуры. Как некогда Даниил, я был изъят из одной действительности и

перенесен в другую, хотя сам ничего не делал и не сделал для этого.

Прошу читателя этих строк о последнем периоде моей светской жизни, простить меня, что я недостаточно говорю о движениях своей души. Это область чрезвычайно трудная и хрупкая. Лучше тут сказать меньше, чем больше. В сущности, ничего не хотелось бы об *этом* говорить. Но, если совсем не коснуться своей внутренней области, потеряется, может быть, ясность всего и не будет понятен такой мой быстрый переход от светской погруженности в литературу — к полному отказу от нее, будет непонятно исчезновение этого моего увлечения, на путях которого (как и на других путях моей юности) меня не постигало никакое разочарование. Наоборот, я был счастлив в мире и так хорошо началось мое литературное дело редактированием большого журнала... Но нечто, изнутри (сразу не ставшее ясным), стало входить в меня и могущественным образом отрывать от этого моего последнего жизненного влечения.

Скажу, все-таки, об одном странном и неожиданном для меня событии (никогда ранее со мной не бывшим). Я сидел в редакции « Благонамеренного », занимаясь просмотром рукописей за письменным столом. Это была брюссельская квартира моей матери. Был я здоров, молод и совершенно ни о чем в те минуты не думал, кроме литературных задач, они занимали все мое внимание. И — вдруг — всё исчезло. И я увидел пред собой огромнейшую Книгу, окованную драгоценным металлом и камнями, стоящую на некоей, словно древней, колеснице. И на этой Книге была яркая, ясная надпись русскими буквами :

КНИГА КНИГ СОБЛАЗНА

Сколько секунд продолжалось это видение, я не знаю... Очнувшись, я обнаружил, что сижу у письменного стола, но моя голова лежит на моих коленях... Такого со мной никогда не случалось... У меня не было тогда ни сонливости, ни усталости. Что-то, как молния, явилось мне и — скрылось. Я как-то обмер, но на душе моей было мирно. Никому я об этом не сказал и здесь впервые говорю об этом. Только позже я осознал смысл этого явления, которое было мне символическим, чисто духовным указанием неверного направления моей жизни... Литературное слово, оторванное от служения Божьему Слову, конечно соблазн духа — для многих... Тут был и соблазн моей душе — я мог в него уйти целиком,и уходил... И из мира духа ко мне протянулась рука, чтобы остановился я на этом своем пути абсолютизирования не-абсолютного.

Случай этот остался в моем глубоком сознании, хотя к полному его пониманию (и других подобных явлений) я пришел, находясь уже на служении Церкви.

Был мне еще ряд подобных явлений пророческого значения. И всё это я понял только позже, когда всё исполнилось. Тогда же я этим не определял своих жизненных путей. Жизнь моя текла светски-обычно. Я посещал по воскресным и праздничным дням службы в брюссельском храме св. Николая Чудотворца, ежегодно в Посту причащался, исповедуясь у о. Петра Извольского... Но мой « внутренний », « сокровенный » « сердца человек » (I Петр. 3, ст. 4), изменялся. Это его изменение меня куда-то влекло, происходил процесс внутри, изменявший меня, как бы докапывавшийся во мне до меня самого... И только следствием завершения, в моем подсознании, этого про-

цесса, я и могу себе объяснить столь внезапное, полное (сердечное, умственное, волевое) свое согласие на путь служения Церкви, когда этот путь мне был просто и ясно открыт и указан епископом Вениамином в его письме.

Вернувшись в иноческом одеянии с Афона и поступив в Духовную Академию я пережил еще одно явление, имевшее для меня уже более ясное и руководящее значение, своим духовно-пророчественным, символическим смыслом. Этим отчасти может объясниться и мой тогда отъезд из Академии, хотя предупреждение, о котором я скажу, имеет отношение не только ко мне.

О. Сергий Булгаков был душою новой Духовной Академии Преподобного Сергия; один из ярких людей духовного Ренессанса России начала 20-го века, он был человеком глубокой искренности и культуры. Можно понять его удовлетворение, что на первых двух курсах Академии были не только юнцы, но и люди с известным « опытом культуры ». Повидимому, он меня считал в их числе, что мне сказал. И на своем семинаре, вскоре после моего прибытия иноком в Академию, он мне поручил сразу весьма ответственный богословский, доклад « Об Именах Божьих ». Тема была особенно близка о. Сергию, в связи с историей афонских имяславцев и их конфликта с Российским Синодом и Греческой Церковью в 1911 году.

Мне самому такая богословская работа была интересна. И я начал готовиться к докладу, вооружась Дионисием Ареопагитом и прочими свято-отеческими мистическими трудами, литературой вероучительной, а также и полемикой церковной начала века, в связи с афонским делом. Привыкший рассуждать на разные темы и довольно бойко высказы-

вать свои мнения о предметах, я не мог себе представить, что тема об « Именах Божиих » даже не на три, а на тридцать три головы выше моего духовного уровня, человека только принявшего первый постриг и далеко еще не вошедшего в глубину человеческого покаяния пред Богом, самосознания, самопознания и верности Богу.

И отец Сергий, кажется, не отдавал себе тоже отчета в этом. В нем еще было немало, хотя и глубоко верующего и благочестивого, но — светского философа. И он, видимо, был рад найти в моем лице ученика, могущего уже как-то высказываться даже по такому высочайшему вопросу... Я жил тогда через улицу от Сергиева Подворья в домике, названном студентами « Еродиево жилище ». И там меня посетило вразумление, указание и поучение. В тонком сне я увидел себя вступающим с берега в огромное море, расстилающееся предо мною. Я вошел в него и шел в нем... Но вода его была мелка, и мне, когда я отошел от берега, она была только по щиколотку. Я входил в это необозримое мелкое море и — увидал, что навстречу мне, ступая по воде (не погружаясь в нее) быстро идут Ангелы. Лица их были прекрасны и очень строги, и держали они пред собой, в предупредительном, останавливающем жесте, обращенные ко мне ладони. Словно они грозно останавливали меня, предостерегали от дальнейшего ухода в такое море... Я очнулся взволнованный этим ярким, *сразу ставшим мне понятным* указанием. Мне надо было выходить из этого начавшегося своего мелкого погружения в глубочайшие Божьи тайны. В умственном богословском спекулировании для меня была тогда огромная духовная опасность. Бог звал меня на

путь слезного, покаянного очищения и молитвенного служения Слову всею жизнью.

И в это время пришел ко мне вызов от моего старца, Преосвящ. Вениамина в Югославию. Благословивший меня на постриг, а после на поступление в Академию, этот духовник мой отзывал меня теперь из Парижа и Академии. Мне открывался новый путь.

Говоря о своей жизни в Бельгии, я должен сказать о первом пастыре, с которым у меня установились личные отношения. Это был отец Петр Извольский, рукоположенный в начале 20-х годов Митрополитом Евлогием в сан священника, б. Министр народного просвещения и б. обер-прокурор Синода царского времени (брат российского посла во Франции).

В небольшой, бывшей посольской, домовой церкви на 29, rue des Chevaliers, в Брюсселе, началось мое первое малое активное участие в церковной жизни. С часословом в руках и с трепетом в сердце я выходил на всенощной из алтаря и, став на солее пред образом Христа Спасителя, читал: «Сподоби, Господи...» Читал и шестопсалмие. Особенно я любил стоять в храме, в ту минуту, в конце всенощной, когда на первом часе о. Петр выходил из северной двери и медленно, проникновенно, читал молитву: «Христе, Свете истинный, просвещающий и освящающий всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего...» И о. Петр клал Спасителю земной поклон... Став священником, я никогда не дозволял себе торопливости в молитвах, а особенно в этой молитве. Именно в простом произнесении (не нараспев и не речитативом) этой чудесной молитвы, я вижу усердие пастырей и вкус церковный. Когда некоторые священники читают

эту молитву скороговоркой, а хор перебивает священника, до сих пор мне бывает от этого грустно.

Надо сказать и об одном небольшом конфликте моем (не личном, конечно) с о. Петром. Это был конфликт более поколений, чем убеждений. Отец Петр неодобрительно, как я чувствовал, смотрел на всё мое редакторство, литераторство и общение с литературными кругами, литераторами разных оттенков (цветов более разнообразных, чем цвета радуги). Думаю, что у него было все-таки некое предубеждение, свойственное его кругу. Он нес в себе горечь в отношении интеллигентов, делавших и сделавших революцию, не расчитав ни своих сил, ни обстоятельств. Он с недоверием относился к ним, и, видя мое легкое, юношеское общение с этим кругом, вероятно, опасался за мою душу.

А у меня было *одинаковое отношение ко всем людям.* И среди « левых » (которых, по старой памяти, опасался о. Петр) я находил людей, даже более для себя интересных и умных, более живо вникающих и в судьбы России и мира, чем люди « консервативного круга », не утерявшие своих идеалов, но несшие их в себе, как какую-то глыбу нетающего льда. Именования же « правые » и « левые » не имели для меня уже тогда (как и сейчас конечно не имеют) никакого нравственного значения. Я уже ясно видел, что они потеряли всякий смысл после Октября. К тому же, у литераторов, в кругу которых я стал бывать, *левое* и *правое* располагалось как-то иначе, чем в кругу, близком о. П. Извольскому и не совпадало с политическими терминами. Ив. Бунин, Бор. Зайцев, Марк Алданов, Владислав Ходасевич, в те дни, вполне могли быть отнесены к « правым ». А Ал. М. Ремизов, Марина Цветаева, Д.И. Святополк-Мирский,

ряд евразийцев, могли быть отнесены к « левым ». Но и эти « правые » печатались в эс'эр'овской « левой » пражской « Воле России », и тоже в эс'эр'овских, но консервативных парижских « Современных Записках », смыкающихся — чрез Фундаминского-Бунакова и Степуна — с православными мыслителями парижских кругов, идейно в те годы оплодотворявших русскую эмиграцию и даже влиявших на Западный мир. Эта большая группа « Пути » (где я тоже начал печататься), Бердяев, Вышеславцев, Лосский, Франк, Карсавин, Федотов, и потенциальные тогда « новоградцы », весенние еще евразийцы и образовавшееся Студенческое Христианское Движение с его собраниями, съездами, книгоиздательством, — все они были для меня гораздо интереснее, чем вялая и умственно-бледная, абстрактно-консервативная молодежь, без всякой проблематики, с катехизической установкой о монархии, исходившей из монархических кругов Н.Е. Маркова II и других, крайне-правых дореволюционных деятелей. В 20-е годы они пытались захватить и политически эксплуатировать Церковь в эмиграции, чтоб чрез нее вернуть себе свое умершее политическое лицо. Отчасти это им и удалось на беду Церкви.

Отец Петр ничего такого не видел. Он только был убежден, что я нахожусь в опасности, общаясь с писателями. Не очень благожелательно он смотрел и на образовавшееся у нас в Брюсселе пестрое литературное содружество кучки литераторов, живших в Бельгии, « Единорог » (Дон Аминадо — А.П. Шполянский, Иван Наживин, Петрово-Соловово, Георгий Цебриков, В. Сухомлин, писавший в бельгийских социалистических газетах и др.). Я провинился в те дни, участвуя в 1924-м году в устройстве в

Брюсселе Пушкинского вечера, в память 125-летия со дня рождения Пушкина. Вечер совпал с одним из первых дней Страстной Недели и отец Петр был очень взволнован. Мне было стыдно, я был неправ, что этого не предусмотрел.

Отец Петр был искренним благоговейным пастырем. Пришедший к священству на шестом десятке, он был еще полон того светского воспитания, которое ничуть не обременяло его любви к Церкви и не отягощало « семинарским » (если будет мне позволено так сказать) стилем. Стиль этот имел в России, в некоторых пастырях, и хорошие черты, но он обычно слишком давил на личность пастыря, на его облик, на стиль его отношений с людьми и на самое отношение пастыря к своему пастырству. Было нечто условное в этом стиле — он был и следствием веков исповедания веры среди русского народа и, одновременно, деградирующим веру, священническим кастовым провинциализмом. « Духовное сословие » (contradictio in adjectu !) ближе всего было к русскому купечеству, что отяжеляло его апостольство среди высших и низших сословий.

В о. Петре мне именно нравилась его светскость. Я немало интересного узнал от него о старой России и церковной жизни. Он отечески ко мне относился. Его разбавленная светскостью церковность легко меня достигала, впрочем, не чрез « светскую » сословность, а чрез отсутствие « духовной сословности ».

Отец Петр был покаянный человек. Он чувствовал и свою ответственность за то, что свершилось в России. С сокрушением покаянным (« не ценили мы, не ценили, что имели... ») он говорил мне о том, как он учился в Италии в университете города Пизы

и защищал там диссертацию о Франциске Ассизском. « И (восклицал он с горечью) я не знал тогда, что в это же время и недалеко от нашего имения в России, жил Амвросий Оптинский ».

Помню его рассказ об отношениях между Государем и Синодом Российской Церкви, когда Петр Петрович Извольский был Обер-прокурором Синода. Однажды, на одной аудиенции, Государь ему сказал о желании вел. кн. Петра Николаевича жениться на сестре жены своего брата, вел. кн. Николая Николаевича. « Надо будет это дело провести чрез Синод » (так это полагалось, в случае бракосочетания члена Царской Семьи), сказал Государь. На первом же заседании Синода Извольский передал архиереям волю Государя. К его удивлению, архиереи « начали между собой переглядываться ». Кончилось дело тем, что Синод отказался благословить этот брак, считая, что Царская Семья должна быть во всем примером народу.

Взволнованный, смущенный П.П. Извольский поехал на следующий доклад в Царское Село и сказал Государю о реакции Синода на его волю. Государь схватился за голову и сказал: « Что мы будем теперь делать ? ! »

Этим примером о. Петр мне хотел показать, как не авторитарно держал себя Император Николай II в отношении Церкви. Церковь имела свободу слова. Тем, может быть, ответственнее было ее молчание в последние годы Императорской России. Великокняжеская же история окончилась тем, что, получив отказ, великий князь Петр Николаевич уехал заграницу и обвенчался, как простой гражданин, в Каннах. В том храме и легло потом его тело. Ему был воспрещен въезд в Россию. Чрез какой-то срок его простили.

V

Кризис мой духовный нарастал постепенно, даже подчас невидимо для меня самого. Как-то я сидел в Брюссельской Королевской Библиотеке. Параллельно всем занятиям во мне шло какое-то внутреннее, интенсивное движение духа, которое можно было бы назвать жаждой истины. Я чувствовал, что в культуре этого мира для человека нет выхода. Истина в ценностях этой культуры еле заметна, она слишком разбавлена посторонними элементами. Мне виделось, что мир загораживает себя от истины множеством понятий, ценностей и эмоций третьестепенных. И простая мысль пришла мне в голову: посмотри-ка, что такое — истина в Философском Словаре, где собрана квинтэссенция мировой мысли и науки, — посмотри-ка (сказал голос внутри меня), что там сказано о дорогом тебе слове истина. Помню, с каким неожиданным для себя волнением я взял фолиант Философского Словаря и стал искать слово Истина — VÉRITÉ. Под этим словом ясно стояло раскрытие его содержания: Voir: ÉVIDENCE et CERTITUDE. («Смотреть: очевидность и достоверность»). Кто-то словно тронул мое серд-

це : видишь, как в этом мире относятся к и с т и н е ! Ее просто не видят, ее не признают, живут и мыслят так, будто ее нет... И то, что нет Истины в истинах, и словах, и ценностях этого мира, для меня явилось тогда именно, как ÉVIDENCE и CERTITUDE, очевидно и достоверно. И возникли в сердце слова апостола : « Не любите мира, ни того, что в мире : кто любит мир, в том нет любви Отчей » (I Иоанна 2, 15). Конечно, здесь речь о мире не как о твореньи Божьем, не о природе мира и человека, а о том комплексе неподлинных оценок и ценностей мира, за которыми так гоняется человечество, не зная, что ходит в кругу неистинного добра и искривленного своего человеческого лица. Только « сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа », о котором говорит апостол (I Петра, 3, 4), выражает подлинную красоту человечности и только в нем является истина.

Для познания ее надо очиститься от самой психической атмосферы « сего мира ». Нужна чистая вера, надежда и любовь к Истине Христовой, чтобы в человеке открылся тот Человек, который только и в состоянии увидеть Истину, и быть в ней.

Великое Бытие все открывалось моему сознанию. Ценности иные стали блекнуть; процесс впрочем не был быстрым, как « на пути в Дамаск ». Он разворачивался во времени, в периоде моего лувенского полу-учения, полу-литературствования, полу-созерцания мира и удивления его открывающейся глубине... Неистинный, « ветхий » человек, живший во мне, толкал меня на свои дела — дороги, более похожие на ямы и обрывы, куда я временами проваливался, в том или другом отношении, в разной степени осознавая это... Но горизонт моего сознания все более очищался, озарял жизнь по-

новому и давал мне всё большую радость бытия, несравнимую ни с какой другой радостью. Я теперь вполне мог сравнивать разные радости, зная ту и другую. Шел процесс очищения моего сознания.

Процесс этот, в сущности, очень прост. Это — покаяние. Покаяние не есть лишь осознание и переживание вины; это и воля к освобождению от вины, к свободе от зла и уже начало этой свободы. Покаяние соединено с благодатью времени. «Второе рождение», о котором так ярко Христос сказал явившемуся к Нему ночью Никодиму, может выразиться и в быстром явлении Христа, как видение Савлу на Дамасской дороге. Но явление Христа человеку может быть и замедленным, проходить в тончайших процессах жизни, во времени. Может длиться месяцами, годами.

Дух Святой — ослепительное «анти-законничество». Он есть удивительное явление Свободы как высшего *сыновнего* Закона, Закона свободы, самого возвышения над Законом... Господь есть Свобода, высшая и всё время отвечающая на относительную, частичную, малую нашу свободу... Дух пленяет, охватывает и вынуждает всё более служить Богу человека, который начал слушать Бога. Тот, кто начал истинно слушать Бога, тот начал и слушаться Его. А кто начал Его слушаться, начал и служить Ему... Так было в моей самой обыкновенной жизни, проникнутой столь многими пустыми житейскими мотивировками и бездумными импульсами... Я просто заскучал в своих правдах. Ценности мои перестали утолять меня. Все чаще стал я выходить из этого мира в молитву и богомыслие. Так рыба, ища глотнуть неизведанного ею воздуха, высовывается и выпрыгивает из своей водной стихии. И я так выходил из ценностей

своего смертного человечества и наконец понял, что волна милости Божьей тихо выплеснула меня на берег нового бытия.

Катализатором моего духовного сознания стал мой духовник, очень искренний и добрый человек, глубокой веры, епископ Вениамин (Федченков), в ту пору инспектор Свято-Сергиевской Духовной Академии в Париже. Чрез него я, никогда и мыслей не имевший о служении Церкви, был призван на это служение. Можно было бы многое тут сказать... И в сущности, все мои книги, статьи, стихи, есть лишь отражение и попытка раскрыть то, что со мной произошло в 1925-26 годах.

Мое призвание на служение Церкви произошло очень просто : весною 1926 г., из Брюсселя, я написал своему духовнику епископу Вениамину в Париж, что жизнь в Европе мне стала духовно трудна и я прошу его благословить меня уехать в Африку, в Бельгийское Конго, где моя мать может мне устроить, чрез бельгийские свои знакомства, место в одной из бельгийских компаний.

Ответ владыки Вениамина был таков :

« Дорогой Дмитрий Алексеевич, — *нет воли Божией на Ваш отъезд в Африку. Ваш путь : монашество и Духовная Академия — служение Церкви* ».

Удивительны здесь два факта. Первый : когда я получил это письмо и прочел эти слова еп. Вениамина, не читая письма далее, я сразу поклонился в землю с ясным и ярким чувством *полного приятия этого пути* (хотя ранее я никогда не думал о нем). Таков был мой « аминь » — « да будет ».

Второй удивительный факт этого призвания таков : за все полвека со дня его, я ни разу не усомнился в нем. И кроме благодарения Богу за него, я ничего (во все эти годы) не имел и не имею.

Уже в этих двух фактах (оставляя все другое) я усматриваю истинность Божьего призвания, так как по натуральному закону, я должен был бы во-первых как-то по-человечески взвесить предложение епископа и м б. поставить под сомнение его, хотя бы из чувства своего несовершенства. Но вера моя в то мгновение поглотила все мои немощи, и быстрота принятия Божьего зова осталась на всю мою долгую жизнь, помогая служению моему Церкви как некая нерушимая броня. Она стала источником большой помощи мне на моих путях служения людям. Все наши слабости по вере нашей, Он покрывает Своей силой и милостью.

По благословению своего духовника, я уехал на Афон, там пробыл два месяца и был пострижен в иночество. Начальной проблемой моей на Афоне стало то обстоятельство, что старец-духовник афонский, которому меня поручил еп. Вениамин (и который был также его старцем), стал меня убеждать остаться навсегда на Афоне... Была в монастыре большая нужда в молодых монахах, особенно образованных. За год до моего пострига, два молодых человека приехали из Парижа на Афон паломниками, пленились Святой Горой и остались там. Я встретил их в Пантелеймоновском монастыре. Одного из них я знал по Парижу; это был Всеволод, в иночестве Василий Кривошеин. Другой был молодым художником Сергеем Сахаровым, ставшим на Афоне о. Софронием *).

Я был пленен Афоном и не знал, что делать —

---

*) О. Василий ныне архиепископ Брюссельский и Бельгийский; о. Софроний — Архимандрит, строитель обители в Англии, издатель Мыслей старца Силуана и его биографии.

исполнить ли указание своего первого старца, или того, к кому он меня направил на Афоне. Этот мудрый и простой душой архимандрит Кирик, духовник Обители, рассудил мудро. Он сказал мне: «доверь жизнь твою Богу. Он укажет тебе путь. Исповедайся, причастись Св. Тайн и пойди по Афону, предав себя воле Божьей. Она откроется тебе». Я так поступил и пошел по обителям Св. Горы. Очень большое впечатление на меня произвело пребывание у старца иеросхимонаха Феодосия, отшельника средь скал Карули, у подножия Афонской Горы. Я провел у него около суток в молитве и беседах духовных. Это был старец просвещенный, полный Христовой любви и той особой мудрости и рассудительности, которая считается у монахов даже выше самой любви, так как любовь без рассудительности несовершенна.

Меня, помню, удивило одно его замечание о том, что «Христос любил книжников и фарисеев». По неопытности моей, мне казалось, что Господь фарисеев низвергал и обличал. «Но ведь это обличение и было следствием Его любви к ним», — ответил старец. — «Спаситель отвергал не души этих фарисеев, а их фарисейство, то есть зло, которое мучило их самих, и в этом именно была любовь к ним».

От старца Феодосия я пошел в Румынский скит, потом в Лавру и в Иверскую обитель. Так я дошел до монашеской столицы Кареи, где Пантелеймоновский монастырь, как один из 20-ти больших, имел свое представительство. В Карейском Протате, монастырском парламенте, заседали представители этих главных 20-ти монастырей Афона. Жил там и представитель гражданской греческой власти.

Шел я тихо по тропинке, среди высоких дере-

вьев, полных чудесного летнего дыхания. Навстречу мне, вижу, идет седой благообразный старец. Поравнявшись, мы остановиилсь, поприветствовали друг друга и стали разговаривать. Старец спросил меня, откуда я, и мне стало приятно говорить с ним, полным какого-то внутреннего благодатного мира. И, когда я с ним говорил, вдруг острая, глубокая и чистая мысль пронзила мое сознание: «Спроси этого монаха о твоем недоумении, с которым ты вышел в свой путь». И я просто высказал старцу свое дело, — сказал о двух своих старцах, которые мне на разное указывают. Которого из них, в сущности, надо мне слушаться, чтобы исполнить волю Божью? Это я спросил в лесу у незнакомого старца-монаха. «Ну, конечно, надо слушаться первого», — ответил старец с большим убеждением. И в это мгновение из моей души сразу выпали все сомнения. Мне стало ясно, что я должен послушаться Преосв. Вениамина и, приняв постриг на Афоне, вернуться на служение Церкви в мир, в Париж, в Духовную Академию... Узнав об этом прояснении моих чувств, архим. Кирик принял это, как выражение Божьей воли.

Когда приближается к тебе светлый мир, более обнажается и реальность темного. Монахи считают, что злой дух на них нападает более непосредственно, чем на людей живущих в миру, ум и сердце которых отвлечены множеством тревог, забот, предположений, рассуждений и удовольствий. Монах более оголен в своем духе вниманием своим к самому важному.

У меня были на Афоне встречи с благодатными, праведными монахами. Скажу и о своей встрече на Афоне со злым духом, в образе, не знаю точно,

монаха ли, послушника или странника. Я шел неподалеку от Андреевского Русского Скита. Оттуда по тропинке, идущим в мою сторону, показался человек в подряснике, довольно неряшливый, худощавый, лет не более 30-ти, с остреньким, нервным лицом. Поравнявшись со мной, он что-то стал мне быстро говорить по-гречески (чего я не понял), а потом вдруг полез меня обнимать. Я, конечно, быстро понял, с кем имею дело, и с изрядным гневом отбросил его от себя, будучи сильнее его. Он сразу увял и отстал. Привожу этот случай (я никому тогда, ни после не говорил об этом), чтобы подчеркнуть истину духовной жизни : никакие одежды, ни самый постриг не избавляют человека от духовной борьбы, испытания веры и духовной свободы.

До самого исхода с земли, человеку надо бодрствовать; нигде он не застрахован от дьявольских нападений — извне или изнутри. И великие слова молитвы : « избави нас от лукавого » — не символика духовная, а путь — необходимейшей защиты человека и человечества от реальности зла, а также от самонадеянности, самоуверенности и беспечности.

На Афоне меня поразило погребение монахов. В миру погребение умершего имеет образ либо искренней, глубокой печали, даже отчаяния, либо форму искусственного, условного горя. На Афоне монашеские погребения лишены всего этого. В них нет никакой печали, это пасхальное торжество. Быстро идет служба погребения и лица у монахов вдохновенные — усопший брат вошел в то, ради чего пришел на Афон. Кончина *верующего* человека — его истинное начало. Психология и реальность тут иные, чем те, к которым мы привыкли в мире.

Воспоминания мои кратки. Юность моя, о ко-

торой я пишу, давно отдана в Руки Отца, давшего жизнь. Трудно открыть по-настоящему эти Руки, не для всех видимые, творящие и хранящие нас, ведущие, лучше сказать *несущие*. Нам трудно было бы самим поспеть за рукой Господней, если бы она сама нас не несла. Но она несет нас быстро, а мы запоминаем лишь отрывки своей жизни.

Записки свои я писал без уверенности в необходимости их для кого-нибудь, жизнь всякого человека слишком лична, но она всегда может что-то сказать другим. Ее тайна — единство и неповторимость личности человека. От младых ногтей человек несет в себе эту неповторимость, как образ высшего мира. Удаленность от Света ввергает нас в стандартность и безличность, а хотя бы малое приближение к Свету открывает в каждом неповторимые, нужные всем черты жизни. Из этих черт составляется царство Божие в человеке. Мы его носим в себе и всякому оно открывается в лучшие минуты. Но Царство это никого не принуждает к своей любви. Оно, как молитва, к которой нельзя принудить человека.

Мой духовник, Преосвященный Вениамин, — как я упомянул — благословил меня принять на Афоне постриг и прибыть в Париж, поступить в только что основавшуюся Духовную Академию Преп. Сергия. Мать моя благословила сей путь. Она сказала мне : « Твое счастье — мое счастье » (ни мысли о себе).

23-го августа ст. ст. 1926 года, в день своего 24-летия, на рассвете, я был пострижен в одной из церковок-параклисов Пантелеймонского монастыря и наречено мне было имя Иоанн, в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. С Афона я уехал в новую жизнь в новой одежде.

ПИСЬМА К МАТЕРИ

(1925 - 1926 гг.)

Ассизи. Воскресенье 20-го сент. 1925.

...Солнце (для мамы это) очень греет. Слушал мессу над гробом св. Франциска. Негодные туристы — и тут приходят молиться с бедекерами. Раз, даже, пришлось шикнуть.

Горы-холмы здесь немного выжженее, чем в Перуджии.

Митя

Рим. 21 сент. 1925 г.

Письмо не о Риме.

Дядя Володя Кампонари год тому назад женился на 32-хлетней женщине, итальянке (фамилию не знаю). Семья более чем холодно к этому отнеслась. Она (т. е. дети и отец) не встречаются. Отец живет с женой между Неаполем и Римом в небольшом именьице, кот. они купили после продажи виллы (« Волконской »).

Саша, к которому я сегодня переехал, чахоточен, постарел (жена его очень постарела), живет под Римом в собственной маленькой вилле, но нигде и

никогда не бывает, одевается по-деревенски, ест плохо (жена и он готовят сами.) Прислуга приходит к ним на срок меньший, чем к нам в Брюсселе... Представь, мусюнчик, Саша меня узнал сейчас же. Очень милый он человек. Сыну его 15 лет и он выше меня. А ведь я его помню в колыбели.

Володя, год или два тому назад, скоропостижно умер в Берлине, поехал туда по делам и отравился морфием. Никто, кажется, не знает, нарочно или нечаянно.

Сестра Саши, и вдова Володи, где-то в деревне, но 30-го приезжают к Саше.

Почти все эти сведения сообщила мне жена адмирала Иванова. С ней и с адмиралом (председатель римского собрания, римский Гартманн*) я сегодня завтракал в собрании, познакомился же через секретаря собрания, с которым познакомился в церкви, а в церкви... уф, даже устал от фразы.

Одним словом, я сутки в Риме, а уже все со мной чрезвычайно любезны. Мой приезд вроде, пожалуй, приезда, в какой-нибудь губернский город чиновника особых поручений — столичного во всех отношениях как по родовитости, так и по связям и — конечно ! — по богатству ! Завтра отдам визит Волконскому (военный атташе, вместо продажи марок, держит пансион), а послезавтра зайду к графине Антонелли.

P.S. Флорентийский русский священник, к которому я заходил, подумал что я приехал получать наследство старухи княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой, недавно умершей и оставившей 40 (со-

---

*) Ген. Гартманн.

рок) миллионов лир (« кроме имений во Франции ! ») незавещанными...

Что бы стали делать мы с такими деньжищами, будь я Глебовым ! ? ? — Все хорошо, что хорошо кончается.

Целую тебя мусюнчик

Митя

Вторник (начало июля), 1926.

В субботу приехал в Белград, узнал, что пароход из Салоники идет на Афон только среди следующей недели, и — поехал в русский женский монастырь Хопово (2 часа от Белграда по железн. дороге и 15 в. пешком). В монастыре встретил одного человека, с кем переписывался раньше (Керн) *), переночевал, и в воскресенье отправился с Керном, и еще с одним человеком в окрестные сербские монастыри. В общем исходили верст 50 по местности — почти России. Очень было хорошо. Хоповский монастырь (человек 15-18 монашек) — прекрасен (жена тамошнего священника спросила меня, не знаю ли я Поликсену Леонидовну Нарышкину **).... Оказалось — она дочь священника из Козловки (и даже, кажется, раз была в Матове).

В общем — все прекрасно. Сегодня ночью еду на Салоники.

Целую всех

Митя

---

*) Конст. Эд., впоследствии Архимандрит Киприан; проф. Свято-Серг. Богосл. Института в Париже.

**) Старшая сестра матери, жена Петра Алексеевича Нарышкина.

Св. Афон. Пятница 3 (16-го) июля, 1926 г.

Итак, сегодня я приехал на Афон. На сербо-греческой границе греки зверствовали — описывали *) паспорт, проверяли, забирали, отдавали, — несколько раз вертели в руках мои доллары, удостоверяясь, что я везу с собою не менее 4-х тысяч драхм, (12000 ф.). В силу последней причины была задержана ехавшая со мной из Белграда экскурсия русских и сербских студентов, имевших визу. Я проскочил. В Салониках сейчас же оказался пароход. Сегодня в 8 час. утра меня с парохода сняла шлюпка Пантелеймоновского монастыря, где я и остановился.

Монастырь огромный, множество зданий, монахов 600 человек. Слухи про Афон лишены основания. Правда, греки притесняют, заваливают налогами, но, пока, все — слава Богу. Работают монахи много, мастерства самые различные. Вид монастыря, внешняя его обстановка на склоне горы, у моря (более голубого, чем на Капри) — исключительна, по красоте. Внутри — идеальная чистота. Въезжая сюда, въезжаешь в какой-то совсем другой мир (часы, например, на 5 часов вперед по сравнению с вашими).

Меня поместили в белой, белой келье, где: кровать, стол и два стула, крашеный пол с узорами. Моюсь рядом, в конце коридора, в огромном мраморном умывальнике с текущей водой (в специальной комнате). Вот — внешняя обстановка моя, которую ты любишь знать, но не знаю если она тебе даст точное представление о моей действительной обстановке.

---

*) Т.к. мой паспорт выдан бельгийцами, а я сказал, что я не советский, то записали меня, как бельгийца.

Видел уже игумена, 73-хлетнего старца, с лицом почти пятидесятилетнего. Т. к. принял он меня вместе с со мною приехавшим одним архимандритом, то я с ним почти не беседовал...

Сейчас на часах половина десятого вечера (- 5 ч.), звонят к вечерне. После вечерни — продолжу.

Кончилась вечерня. Повечерие через полтора часа, т. е. в 12 часов ночи. Еще будет, конечно, светло. Почти все монахи — на разных послушаниях. В церкви их не много. (Вечерня читалась в разных мастерских).

4-е июля, после утрени.

Сейчас одиннадцать утра (по Брюссельскому - 6 утра), закончилась литургия. Служат литургию здесь в 7-ми церквах (больших и малых). Мне дали читать « Верую », который я — по « брюссельскому чину » — прочел не без трепета, пред святыми старцами, меня окружавшими. После литургии, в церкви же, угостили меня хлебом, смоченным в вине, вином и чашечкой кутьи. Будущего своего духовника, о. Кирика, я еще не видел.

Целую тебя, мусюнчик. Обнимаю Наталию.

Митя

17 июля 1926 г. Св. Афон.

Не буду тебе сейчас писать ничего подробно. Когда приеду в Париж и ты приедешь туда, — все расскажу...

Вчера игумен согласился меня постричь. Пострижение здесь окончательно утвердится, как

только будет получен официальный ответ от еп. Вениамина, которому сегодня послана телеграмма.

Постригут меня « в рясу » — первый монашеский чин (за ним следует « мантия », т. е. малая схима, и — великая схима, до которой доходят обыкновенно только в монастырях).

За эти две недели, что я тут, — ходил в Карею, выправлять паспорт. Из Кареи прошел в недалеко оттуда лежащий Андреевский скит, оттуда несколько келий навестил, в частности — келью схимника Вениамина, пустынника, к которому мне дал письмо о. Алексей; потом побывал, в сопровождении о. Вениамина, в Ильинском скиту, который хотя и не так велик, как Андреевский, но тоже скорее похож на монастырь, чем на скит. В общем — посетил уже русский Афон. В греческих монастырях еще нигде не был, — скоро пойду и к их святыням.

В Карее — единственном в мире городе без женщин — купил материи на монашеские одежды (подрясник и рясу); шить мне будет монах-портной из Андреевского скита. Сошьет по афонскому специальному фасону. Камилавку я уже купил... Остались кое-какие мелочи...

Хотя нигде лишнего ничего не тратил, но, кажется, мне не хватит моих денег. Если можешь, мусюнчик, пришли мне сколько-нибудь (может быть, граф поддержит меня в пятистах фр. и Маси даст столько же и — я « выехал » во всех смыслах !). Да, расчеты не совсем оправдались...

Гора и весь полуостров афонский поистине благодатное место. Единственное, конечно, на нашей планете. И физически и духовно. Наших иноков тут более тысячи. Не мало, сравнительно, пустынников, есть безмолвники... Обо всем, обо всем — устно. А то трудно чернилами и тростию.

Обнимаю тебя, мусюнчик, и целую крепко. Начиная с Наталии, приветствуй всех своих. Не пишу никому по причине безмолвия. Приветствуй дьякона Георгия, отца его, матерь и жену. Надеюсь — он приедет в Париж вскоре.

2 авг. ст. ст. (15-го) 1926.

Св. Афон.

Получил твои два письма, благодарю Бога, что ты плачешь хорошими слезами. Ты мне может быть не пишешь плохих вестей, чтоб меня не тревожить, а по письмам твоим— все хорошо.

Я себя чувствую очень хорошо. И ем и сплю в меру (хорошую). Сплю даже два раза в сутки из-за ночных церковных служб.

Со дня на день ожидаем официального разрешения на постриг от еп. Вениамина, которому посылали об этом телеграмму.

Ты спрашиваешь, можно ли тебе писать сюда, — конечно можно.

Я совершенно не помню, писал ли я тебе про свое последнее большое путешествие по Афонской горе? После пострига, может быть, опять пойду.

О всем же буду рассказывать и целокупно и устно.

Обнимаю тебя, мусюнчик, и крепко целую.

Так же — Наталию. Привет всем.

Митя

Приписка к письму:

Молитвенный привет Вам от Духовника Монастырского. Архимандрит Кирик.

Дорогой мой Лёша*), ехал в Африку, а попал в Грецию, на Афон. Из Афона в Париж поеду, кажется иноком. Итак, друг мой, — все проходит. Зимой буду в Духовной Академии, если Бог даст дожить до зимы.

Знаю, что ты не очень удивишься всему этому: да, надо реально что-нибудь делать, — мать я все равно не поддерживал, так по крайней мере, материально ей будет легче. Духовно же ей как будто бы тоже стало легче. Видит, что попадаю я на дорогу, которая мне уготована. И трудно будет мне в мире действенно и реально говорить о том, что ненавидит мир, и — легко, потому что такое это уже чудное бремя, исповедывать Бога, пришедшего во плоти.

А ты как, старина, поживаешь? Черкни мне на Académie Orthodoxe. 93, rue de Crimée. Paris 19ème

14 авг. ст. ст. Св. Афон. 1926.

Вчера ходил в Андреевский Скит, где мне шили монастырскую одежду, и получил ее. В Карее (Скит близ Кареи) нашел твое письмо от 13-го нов. стиля, и нахожусь теперь в некоторой нерешительности относительно денег: письмо твое шло две недели, должен предположить, что и мое будет идти столько же. Значит minimum м е с я ц надо класть на перевод денег сюда. (Если же переводить переводом, то, несомненно, недельку надо накинуть. Итого пять недель). Сейчас, по новому стилю, 27-е

*) Алексей, двоюродный брат работавший в Бельгийском Конго.

августа. До начала занятий в Академии (а я, по некоторым причинам, хочу быть там к началу занятий) остался месяц. Около двух недель надо класть (из-за возможного пропуска парохода и из-за паспортных дел) на дорогу в Париж. Значит, жития мне на Афоне осталось — две недели. Расчет, таким образом произведенный, наталкивает на следующее предположение: занять у монастыря денег. А из Бельгии высылать уже на имя о. игумена, адресуя так:
Salonique. 135, rue Ste Sophie. Rév. Père André. Grèce

От Владыки Вениамина еще не пришла бумага, относительно пострига. (Хорошо бы постричься в день рождения!)

Спешно заканчиваю письмо, т. к. почта ждет.

Целую тебя крепко. Приветствуй пожалуйста графа, Винанди и всех.

твой Дмитрий

P.S. Деньги (1000?) вышли, если можно, по получении сего послания.

24-е августа ст. ст. 1926. Св. Афон.

Вчера, по-вашему — в 3 ½ часа ночи, в одном из малых Афонских храмов, храме Введения Пресвятой Богородицы во Храм, был пострижен в первый иноческий чин, и наречен Иоанном — (память: 26-го сентября).

Постригал отец архимандрит Кирик, одежду благословил Игумен — отец Мисаил.

Чего мне из одежды не хватало, все раздобыл мне о. Кирик, отечески меня опекающий.

Скоро, теперь, уже надо будет мне покидать Афон, который я за последние мои здесь дни еще более полюбил.

Многозначительных известий от тебя не дождусь, они придут без меня. Опираясь на них испрошу себе здесь то, чего не хватает для дороги.

Три дня тому назад получил письмо, где ты зовешь меня в Бельгию, пред Францией (пред занятиями). Думаю, что это вряд ли выйдет. Так думается беспричинно, а значит — наиболее веско. Впрочем, напишу тебе об этом по приезде в Париж.

Приветствуй в Бельгии всех меня помнящих. Варваре, Наталии, Зинаиде, всем кто не с тобой, черкни главное содержание сего письма.

Радуюсь о вчерашнем, обнимаю тебя, целую и благодарю.

Сын твой Монах *Иоанн*
Храни тебя Господь

24-е сент. нов. ст. 1926

Сегодня — пятница. Во вторник я прибыл, пароходом, из Пирея в Марсель, в среду утром рано приехал в Париж на Сергиево Подворье, и, в тот же день, в среду вечером, отбыл, с Владыкой Вениамином, в Канны. Вчера днем был уже в Каннах... Мы остановились на даче, принадлежащей каннской церкви, находящейся в ограде церковной, поселен я в прекрасной комнате, где окно не закрывается, а из окна вид на очень хорошую погоду... В общем, пробуду здесь, на иждивении Владыки, три недели,

— занятия в Академии начнутся лишь 15-го октября.

В Бельгию я бы мог, конечно, приехать, но не сделал этого сознательно, т. к. нуждаюсь в непрестанной поддержке со стороны окружающего, а в Бельгии, кроме тебя, все было бы мне во вред, в рассеяние. К 15-му, приеду в Париж (на всю зиму) и ты, как только сможешь, приезжай.

Из Салоник я ехал поездом на Афины, где пробыл 4 дня, ожидая парохода и выправляя визы на просроченный паспорт. Вся дорога прошла благополучно. Пароходом я ехал на палубе. Одеяние имел монашеское, только шляпу мне разыскали на Афоне светскую, коричневую, и даже бархатную (как носят художники !)...

Обнимаю тебя. Твой *Иоанн.*

Приветствую — Наталию и всех святых. Передай поклон мой отцу Петру.

О. Иоанну. Eglise Russe. Cannes (A.M.)

2 окт. 1926. Cannes

Не пересылай о. Кирику денег. Я уже послал ему почти полную сумму, которую он указывает. Я совершенно и вполне здоров, — твое беспокойство не имеет никаких оснований. Останусь еще несколько времени здесь, хотя Владыка уезжает в среду.

Набокову не знаю, куда писать. Меня не очень

удивило, что Сергей Набоков перешел в католичество (— я, даже, рад за него)... *).

Ты, может быть, не пишешь мне всего? Хорошо ли «все» у тебя?.. Буду ждать тебя в Париже 17(?) 18(?) 19(?). Не будут ли, в это время, там же, и Наталия и Зинаида? или Варвара?

Целую тебя и всех, кто с тобою

Иоанн.

Спасибо большое за фунты. Белья себе куплю. Что же касается до постельного белья и т. д. — то этого ничего не надо, т. к. будет казенное. (Я, собственно, не помню, что у меня в сундуке, кроме книг? Что может быть? Из вещей мне ничего не надо, все у меня есть.)

четверг, 2-12-1926

Меня постригают в мантию в эту субботу на всенощной (после великого славословия). Постригать будет владыка Митрополит. На следующий день рукополагают во иеродиакона отца Анатолия, меня же — в понедельник.

Событие омрачается болезнию владыки Вениамина, вдруг заболевшего и довольно серьезно. Кажется, воспаление легких.

Очень прошу тебя отслужить молебен о здравии его.

сын твой *Иоанн*

Благодарю Зину, обнимаю ее и Светика.

---

*) С.В. Набоков, младший брат Вл. Вл. Набокова, как мне казалось был вне всякой веры. Во время войны умер в тюрьме в Берлине.

3 ст. ст. дек. четверг 1926 г.

Поздравляю тебя с именинами Вали. Вчера за литургией меня рукоположили в иеродиаконы. Была служба на rue Daru, очень торжественная. Рукополагал Владыка Евлогий, в сослужении двадцати одного священника. Так много священников (еще больше) съехалось на собор, который происходил на Сергиевом Подворьи и закончился сегодня. Мне довелось тоже присутствовать на соборе. О последнем ты, конечно, узнаешь от брюссельской Церкви.

Обнимаю тебя и всех

твой *Иоанн*

Большое спасибо за оба письма, которые получил ни капли не опустошенными. Здоровьем я совсем поправился, буду теперь неделю служить каждый день полную службу. Это — большая радость.

23 н. ст. Декабрь 1926

Прости, что я тебе ничего не написал о « личных переживаниях » пострига. Даже все внешнее действие я не мог тебе описать по причине сходства внешнего и внутреннего для меня, в данном случае. А о « переживаниях » как-то ничего не мог и не могу сказать и никому, конечно, не говорил. Потому что чувствуешь, что всякий пересказ будет неточен, даже более — лжив, в какой-то мере. Поэтому я даже внешнюю процедуру не мог тебе описать сам.

Теперь ты знаешь о всех моих событиях. Отец Петр не был на моем рукоположении в иеродиаконы, но мы служили с ним на следующий день молебен, о чем он тоже, может быть, тебе сказал.

В прошлое воскресенье, в Николин день, на rue Daru служил Владыка Вениамин и взял меня с собою; служило 2 диакона, из коих один был мною. В общем же я отслужил после рукоположения 5 литургий и прочих суточных служб. Вот служение литургии совершенно особая вещь, здесь как бы центр всего, всей духовной жизни человеческой...

В прошлое же воскресенье видел Татьяну *), она мне прислала кой-что из съедобного и спрашивала вообще, не нужно ли чего.

Ты меня спрашиваешь, была ли тетя Маша **) на постриге : нет, я сообщил ей через Нату, а Ната уехала в Ниццу накануне.

От Наты только что получил очень хорошее письмо. Она пишет о твоем предполагаемом переезде в Ниццу (« может быть »)...

Привет всем. Обнимаю тебя крепко

твой *Иоанн*

Вот я думаю, что ты стала бабушкой всем членам Церкви Православной... т. к. ты — мать отца-иеродиакона.

---

*) Шаховскую, Тат. Вл. троюродную сестру.

**) Мар. Анат. Шаховская, вдова кн. Владим. Алексеевича Шаховского, расстрелянного в Пятигорске после окт. революции.

Сергиево Подворье. 26-е дек. ст. ст. 1926

Вот теперь — маленькая передышка, могу поводить рукой по бумаге. А то — посуди сама : в тот день, когда я тебя поздравил, я ранее семи часов утра вошел в церковь и ровно в 3 вышел. Затем вечером была служба двухчасовая и затем еще надо было читать правило... Как видишь, это — в монастырском масштабе. Утомился я, разумеется, хорошо, но не переутомился, ибо во время, отведенное для сна, спал прекрасно. Относительно пищи : пост кончился и я буду себе покупать молоко. Чувствую я себя сейчас прекрасно, даже великолепно.

Твоему письму о болезни, и о 40°, не удивился, — вероятно всегда, когда ты мне ничего не пишешь — ты лежишь в постели. Это уж такая привычка у родных по плоти, писать после своей смерти.

Спасибо за бельгийские франки, я уже разменял их. Недавно получил от журнала « Путь » *), за свою старую статью, 7 1/2 долларов. И теперь буду чревоугодничать.

О моей комнате : комната моя, и еще трех лиц : о. Георгия, о. Афанасия, и одного студента Академии, бывшего военно-морского атташе при российском посольстве в Белграде — разделилась на 4 части : о. Афанасий протянул две проволоки и устроил занавесы из простынь. Так что у меня, сейчас, вполне автономный угол, чему я искренно рад. И в углу моем вполне помещаются : 1) кровать, 2) шкафчик (полки) для книг, 3) шкафчик для белья, который есть письменный мой стол, 4) аналой, 5) стул. Все эти пять предметов вполне умещаются в моем

---

*) Издавался в Париже под ред. Н.А. Бердяева.

отныне уже легальном « углу », и даже у меня еще есть шага два (если считать с загибом) пространства для движения.

Праздник прошел чудесно. В сочельник Владыка крестил двух евреев, мужа и жену, молодых, стоявших после крещения за литургией впереди всех на особом коврике со свечками и в полном смысле слова сиявших. Они из довольно известной еврейской фамилии (Оцуп) *), он кончил философский факультет. Крещение происходило в комнате, о. Афанасий был за чтеца и певца, и говорит, что поразительно ощущалось присутствие Святого Духа. Я познакомился у Владыки с ними и еще видел их у него вчера: сияют, сияют совершенно определенно и видимо. Вчера же должны были, в первый раз христианами, пойти к матери ее, которая еще не знает о факте их крещения...

Приветствуй от меня, пожалуйста, Аспремонта, Винанди и Маас, двум из них — ортодоксалистам — передай эти два благословения.

Крепко тебя целую

твой *Иоанн*

---

*) Речь идет о Георгии Авдеевиче Оцупе — поэте Георгии Раевском и его первой жене.



Князь Алексей Николаевич Шаховской
(* 18 июня 1855 г. – † 21 янв. 1921 г.)



1904 год. С матерью



Париж. 1906 год



Кают-Компания Крейсера « Богатырь », Флагманского корабля русской эскадры, посетившей Тулон в 1909 году. По правую сторону его командира, Капитана I ранга Матросова, тетка Гали Чирикова. По левую — мать. Слева сестра Варя. Я в матроске.



Петроград. В лицейском саду.
Вольная поза вблизи памятника Пушкину. 1916 г.



Время вхождения в эмиграцию
Генуя, Италия лето 1920 года



Второй Съезд РСХД в Аржероне, Франция, 1925 год.
В центре Преосв. еп. Вениамин, слева от него А.В. Карташев.
Слева внизу Шаховской



Брюссель 1925 г. В чайной матери « Самовар »



Афон, август 1926 г. Пантелеймоновский монастырь.
Пред постригом. Сидят духовник архимандрит Кирик, архимандрит Тихон (впоследствии архиепископ в Америке). Стоят инок о. Василий Кривошеин, Шаховской и о. Софроний Сахаров



Афон, июль 1926 года



После Афона. Париж, осень 1926 г.

ИЗ “ТЕТРАДЕИ О СВЯТОСТИ“

ИЗ « ТЕТРАДЕЙ О СВЯТОСТИ »

От моих студенческих лет сохранились у моей матери « Тетради о святости », записи мыслей, посещавших меня и расширявших мое сознание. Они были моей душевной реакцией на открывавшуюся мне жизнь.

Из них, в 1924 году, вышла идея журнала религиозно-философского и литературного, получившего впоследствии (несколько криптологическое) название « "Благонамеренный". Журнал Русской Литературной Культуры ».

И сейчас я могу видеть в этих косноязычных записях нечто понятное и даже сродное себе. Удивляюсь смелости этих моих высказываний, некоторому религиозному радикализму их, впрочем свойственному юности. Рвались и снова (но иначе) завязывались мои связи с миром. Касаясь ценностей этого мира, я преодолевал их и подходил все яснее для себя к той реальности, которую считаю настоящей.

Я выбрал только часть моих заметок, для данной публикации и к некоторым сделал примечания.

ЧАСТЬ I

(1923 - 1924. Лувен)

Социология, это поезд, составленный из вагонов трех классов и идущий товарной скоростью.

* * *

Эволюция зла — в ширину; добра — в глубину.

* * *

« Даруй мне зрети моя прегрешения » — это, без сомнения, лучшее разрешение вопроса о « libre arbitre ».

* * *

У Блока, в « Двенадцати », перевешивает двенадцатый (ушедший с Тайной Вечери).

* * *

У Достоевского очень подчеркнут элемент сплетни.

Трудно быть писателю целомудреннее Достоевского.

Достоевскому стоит больших усилий создавать человеческую глупость.

Читая Достоевского, словно смотришь на скачку бешеную и с препятствиями : « Упадет или не упадет наездник »... Препятствия лишь в беге преодолеваются.

Герои как-то сохнут у Достоевского и отваливаются в конце повествования.

Как подхватывает Достоевский от начала.

Свобода плана — один из главных источников внутренней технической его свободы.

Кротость Достоевского, ведь это почти « кротость » Толстого, кротость непротивления злу. Человек же должен быть кротким, кротостью высшего порядка, — быть сильным (как бы « гордым ») перед лицом зла *).

* * *

Все великое счастье человека — в недосягаемости в этом мире полного счастья и в зависимости от человека этой недосягаемости.

* * *

Искусство — оттенки любви.

* * *

---

*) Это лишь чуть намеченная оценка двух видов кротости : агнчей и лже-агнчей. « Агнчья » не из морали исходит, а из экзистенции. Толстой *моралист* кротости, Достоевский ее *экзистенциалист*. А.И.

Мне всегда было немножко жаль «великих мыслителей».

* * *

Гений всегда просит подаяния, несмотря на то, что все нищи, кроме него.

* * *

Укрепляют веру во Христа и те, которые в Него веруют и те, которые в Него не веруют. (по поводу Шюре) *).

* * *

«Русского человека надо посылать на каторгу»: (надпись на книге «Записки из Мертвого Дома»). Вот фраза, которую 99 % людей поймут превратно.

* * *

«Единица соборности» — муж и жена.

* * *

Грех, это еще не есть полный грех. Полный грех — ложное добро.

* * *

*) Книга Шюре: «Великие посвященные» говорит о Христе, как об одном из «посвященных». Поверхностная эта книга укрепляет веру во Христа, как единый Логос мира.

Нравственная высота человека определяется степенью его оправдания собственных страданий *).

* * *

Церковь это прежде всего — не система **).

* * *

У человека может быть гневное лицо, но никогда оно не должно быть злым ***).

* * *

Святых творит народ, как алмазы гора.

* * *

Смерть, это страх Божий. И больше ничего ****).

* * *

---

*) Умеющий быть апологетом своих страданий, может быть и апологетом страданий человечества. Умеющий быть апологетом этих страданий, способен к вере в Бога. А.И.

**) Я очень ощущал бюрократический государственный аппарат Римо-Католической Церкви, учась в католическом университете. Как бы поучался Православию, отталкиваясь от этого церковного аппарата. А.И.

***) Связь этики и эстетики — в человеке. А.И.

****) То есть, ничего большего не надо, для того чтобы встретить смерть свою, кроме страха Божьего, который есть « Начало премудрости ». Иначе сказать — благоговение. А.И.

В святом человеке должно быть столько же святого, сколько и непонимания своей святости.

* * *

Блок — диллетант мышления. Если бы он не был диллетантом мышления, он был бы большим поэтом.

* * *

Русская грамматика, это английская юстиция, — и есть законы, и нет законов.

* * *

Хороший поэт, это игрок, который все время выигрывает.

* * *

Веселое или грустное, бездумное или занимательное переливание из пустого в порожнее, тоже называют искусством.

* * *

Эмигрантам следовало бы создать *Объединение разъединений*, как первый шаг их единения.

* * *

Единственные теории, которые я признаю в политике, это — утопические, ибо, конечно, лучше главным считать невозможное, чем неглавное.

* * *

Христианская нетерпимость и христианская терпимость. (разработать)

* * *

Собственная святость столько же благостна к себе, сколько и к другим *).

* * *

Нельзя ли следующей мыслью устранить вопросы, возникающие в связи с молитвой за усопших, чистилищем, мытарствами... Так как после его смерти ВРЕМЯ для умершего исчезает, то все оставшееся сзади него земное время претворяется в ВЕЧНОСТЬ, и человек, «просыпаясь» от земли, просыпается на Последнем Суде.

Молитва же панихидная, церковная, есть молитва не только за пассивно ждущую помощи и любви другую душу, но и активное действие веры и любви за другого человека (вместо него). Если так понять молитву за умершего, она приобретает особый высокий смысл соборного слияния душ в Едином Теле любви Христовой. Она есть действие высшей любви **).

* * *

Не в агонии только будет, до конца истории,

---

*) Мысль здесь та, что и евангельская святая ненависть к себе человека, верующего во Христа, есть явление высшей любви к себе, как и к другим. А.И.

**) Этот эпиграф в Тетради был выражен стилистически неуклюже. Я его перевел на современный свой язык. А.И.

Христос (как сказал Паскаль), и рождаться будет Он в истории *).

* * *

Младенцы уже тем ближе к ангелам, что у них меньше тела (смертного).

* * *

Люди устают поражаться земным травинкам. Не устают они поражаться лишь все возрастающим дйюмам своих орудий (пустота нашего удивления).

* * *

Думается, что Православие призвано защищать вселенскую веру, более римо-католичества. Православие защищено в мире крепче — своей слабостью. Если Папа провозгласит ex-cathedra, что Католичество присоединяется к Православию, « Католичество » перестанет существовать. А в Православии достаточно одного епископа, который бы не принял решения собора всех епископов о присоединении к Католичеству, и Церковь Православная остается стоять в своей незыблемости **).

* * *

---

*) Можно было бы еще сказать : и воскресать в людях, как сама Сила Воскресения.

**) Здесь мысль, что в своей большей слабости, зависимости от внешних сил мира сего, чем Римская Церковь, Православие обладает преимуществом « Тростинки пред Дубом ». « Аквилон » может вырвать дуб, но тростинку он только пригнет к земле. Конечно, все это рассуждение,

Поэзия, это — хождение в ногу не под барабан, а под скрипку

* * *

Пожалуй, ум — начало святости, как и святость — начало ума... Те, которые не понимают своей греховности — удивительные дурачки.

* * *

Надо бы изобрести часы меры вечного, показывающие, насколько человек теряет время.

* * *

Хочу найти одно — ОДНО, через которое все философии были бы примирены, как примирены разные числа : 5, 4, 3... Примирение должно чрез отсутствие философии пройти, в приближении к Великой Детскости, как Простоты и Святости.

* * *

Все, все нечеловеческое, дочеловеческое в мире надо любить, как святое, и человека, — как сосуд глиняный.

* * *

верное в сути, несет несколько искусственное построение. Папа диктатор в Церкви лишь в теории : он связан многими монсиньорами Ватикана, и его единоличное « присоединение к Православию » вызвало бы просто его низложение. Процесс единения в нахождении древнего Единства Церкви, есть процесс Духа Божия в сердцах, а не деклараций. А.И.

В религии (то есть, в главном) стараться влезть в окно, это — ломиться в открытую дверь.

* * *

По тому, что животные знают время глубже человека, видно, что человек создан не для времени; и, приближаясь к своей безвременности, сводит время к второстепенному. Он и часы, наконец, выдумал, будучи выше времени.

* * *

Все думаю о Православии и Католичестве. Католичество застыло на первом шаге *человеческого, ограниченного* понимания человека, а Православие застыло на последнем человеческом шаге в мире.

* * *

Первый шаг человека — пресмыкание. Последний — горний полет. Так мало христианства *по земле ходящего.*

* * *

Особенно меня волнует в Евангелии божественное растаптывание человеческой логики.

* * *

Странно видеть в словаре иллюстрации понятий, причастных человеку. Изображается фигура, а под ней надпись : « академик », « драгун », « турок »...

Выглядят эти абстрактные куклы в своих нарядах очень мертво *).

* * *

Человеку дано это тело, чтобы он не слишком задавался.

* * *

Большинство книг учило меня, как не надо писать.

* * *

Не важно иметь друга. Важно сознавать, что он может быть.

* * *

Бывают люди, чьи таланты позволительно переоценивать.

* * *

У людей нету с л о в, чтобы избежать войны.

* * *

Бог — только То, Кого з а в с е благодарить можно.

* * *

---

*) Перефразировано. А.И.

Святость, это забвение *неглавного*, его незамечание.

* * *

Мало отделить Церковь от Государства. Еще надо ее и удалить, чтоб, и без гонений, Патриарх жил в монастырской сторожке.

* * *

Написать « Открытое письмо Ивану Карамазову ». Опровергнуть теоретическую, рассудочную любовь к слезинке ребенка, запертого в злачном месте *).

* * *

Творчество высокое : твори себя грешником, если хочешь любви Господней.

---

*) Статья была написана и опубликована в Пражском русском студенческом журнале.

Ч А С Т Ь II

(1924 - 1925. Лувен - Брюссель)

Нехорош я хотя бы уже потому, что не всегда чувствую себя нехорошим.

* * *

В мире никаких ниток нет, кроме белых. Все тут в мире « на белую нитку ».

* * *

Молитва писателя:

Господи, силу мою видеть — мне дал Ты. Да не устрашуся духа своего, да не поклонюся Тебе чужой кротостью.

* * *

Евреи, как пчелы, приготовили миру соты, наполнившиеся медом; а сами теперь летают среди тех, кто вынул мед.

* * *

Не люблю — гораздо сильнее, чем ненавижу.

* * *

Буржуа, это считающий жизнь укладыванием своим там, где потеплее. Редко он знает, что укладывается для смерти.

* * *

Трагичность науки в том, что она усложняет мир, домогаясь простоты познания и творчества.

* * *

Главное творчество поэта, творчество не стихов, а вдохновения.

* * *

Политическую свободу надо называть не свободой, а возможностью свободы.

* * *

Умный человек, это тот, кто может понять глупого, считает апостол Павел. Умный человек тот, кто не может понять глупого — мысль Ницше.

* * *

« Потомки православных » — тема.

* * *

(Из письма Путятину) : Разница между молитвенным призыванием и спиритическим такая же, как между Евангелием и газетной передовицей.

* * *

Моление о превращении понятия силы в понятие слабости — вот путь истинного прогресса в человечестве.

* * *

Смерть, слово, после которого никогда не надо ставить восклицательного знака.

* * *

Россия для других народов — та же теория Эйнштейна. Знают ее лишь по популяризаторам.

* * *

Невозможно быть государством великим и в то же время христианским. А народы все пытались в истории осуществить это. Иисус отвечал : « Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня » (Иоанна, 18, 36). Христианство совместимо лишь с малым, с великим в малом.

* * *

Фокус « Культурного наследия » — брезгливость к падали.

Самое глупое существо во вселенной — дьявол.

* * *

Трудно увидеть в политике человека, так как в ней надо смотреть не вверх, а только налево и направо.

* * *

«Тебе Единому согреших» — суть единобожия.

* * *

Нищий-симулянт не отличается от подлинного нищего. Он, может быть, еще более несчастен.

* * *

Одиночество — книга, которую надо читать с карандашом в руках.

* * *

Трогательно существование в ухе сложнейшего смазывательного аппарата. Истина трудилась над ним.

* * *

Иногда кажется, что даже такие общие всем слова, как предлоги и союзы, понимаются людьми разно.

* * *

М. не ходит в храм, потому что не чувствует стоящих там людей себе близкими, а чувствует их чужими, холодными. Хорошо, если бы кто не пошел в храм по мотивам обратным, — чувствовал бы себя самого слишком чужим и холодным для чисто-молящихся в храме людей и боялся бы охладить их своим присутствием.

* * *

Переложение стихотворения на музыку, это — трубление в розу.

* * *

Удавшиеся писатели, это люди с выдержанным и верным воображением. Рабочим воображением. Оттого я и не очень верю, что из меня выйдет « удавшийся писатель », несмотря на мою любовь к Слову и к русскому слову. Воображение мое слишком быстро, извилисто и нетерпеливо. Оно любит снимать сливки со всего. Это скорее лишь явление созерцания и поэзии.

* * *

Как расщеплена мысль человеческая... « Колос от колоса, не слыхать девичьего голоса ». Самая мелкая мера в философии : километр. Споры философов идут километрически. Отойдем же в сторонку с нашими вершочками.

* * *

Иногда мне кажется, что я к земле привязан

только чувством иронии в отношении всего земного. (Я бы этого не хотел).

***

(Запись, сделанная матерью на последней странице II Тетради).

1929 г. Бельгия, апрель.

Вся нравственность в жизни сводится к тому, чтобы как можно меньше брать от людей и как можно больше давать себя, свою душу... И чтобы меньше брать, надо — воздержание, а чтобы быть в состоянии давать другим, надо развить в себе духовные силы, из которых главная — любовь, деятельная любовь, служение жизни, улучшение ее.

ПЕРВАЯ МОЯ СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «ПУТЬ», № 5, ПАРИЖ, 1926 г.

НА ПРАВАХЪ РАЗГОВОРА

Объ апокалиптичности писать трудно. И не потому только, что Откровеніе Іоанна Богослова хранится Церковью за семью печатями, что оно было и есть лишь объектъ частнаго религіознаго любопытства. Писать о концѣ человѣчества трудно, потому что познать Конецъ можно только въ концѣ земного познаванія Бога. Не случайно, книга Откровенія — омега святыхъ книгъ, альфа которыхъ — Бытіе. Апокалипсисъ — послѣднее откровеніе послѣдняго человѣческого бытія; и, какъ предѣловъ жизни нельзя осознать, не осознавши самой жизни, такъ послѣднее откровеніе непостижимо безъ постиженія всѣхъ святыхъ откровеній.

А кто можетъ быть увѣренъ, что позналъ всѣ откровенія?.. Послѣдняя книга Іоанна Богослова — камень смиренія, — непознаваемый, хотя и земной камень, на которомъ смирялось и смиряется святое богословіе. Не случайно, люди толковавшіе Апокалипсисъ въ громадномъ большинствѣ своемъ, были еретиками. Средневѣковые ли «арнольдисты», россійскіе ли мѣщане-начетчики, — все это люди впол-

нѣ кустарнаго подхода, явно безпомощное умствованіе предъ непознаваемымъ. Дѣйственное раскрытіе Апокалипсиса совершалось до сихъ поръ руками неистинными, т. е. не церковными. И потому писать объ Апокалипсисѣ нельзя. О немъ можно только *говорить*. А, если и писать, то — « на правахъ разговора ». Сквозь послѣднее право, и только сквозь него, можно рассматривать всѣ новѣйшія апокалиптическія чувствованія, — вообще весь вводъ Апокалипсиса въ современную философско-беллетристическую литературу.

Какъ то чувствуется, сейчасъ, что наиболѣе извѣстный въ нашей русской литературѣ разговоръ объ Апокалипсисѣ Владиміра Соловьева, есть нѣкоторое увлеченіе наименьшимъ сопротивленіемъ парадоксальности. Владиміръ Соловьевъ отобразилъ очень остро свою эпоху, эпоху переоцѣнки Культуры и Человѣчества (« Культуры » и « Человѣчества »). Раціонально отталкиваясь отъ антихристовой культурности, Соловьевъ, несомнѣнно, эстетически подтверждалъ ее, любуясь ея исторической реальностью. Только два-три десятилѣтія отдѣляютъ насъ отъ послѣдняго Соловьева. Но какъ перемѣнилось время, какъ легче теперь говорить объ Апокалиптичности, легче разговаривать о « Трехъ разговорахъ ».

Думается, что оставаясь въ Церкви, *и тѣмъ самымъ уже какъ-то строя ее* — нельзя переоцѣнивать гуманности антихриста. Можно ее утверждать, но нельзя переоцѣнивать. Ни гуманности антихриста, ни ума его, ни учености. Соловьевское рѣшеніе первой проблемы апокалипсиса : о ликѣ антихриста, объ узнаваніи его, — перестаетъ, какъ-то, удовлетворять.

Ложная культура, со своей гуманностью и прогрессомъ, тѣмъ ложна, что всѣ положительныя категоріи этой культуры, *религіозно ничего не значатъ*. Они — религіозная фикція. Человѣкъ, заболѣвшій лже-культурой, либо умретъ, либо, въ любую апокалиптическую минуту, несомнѣнно, сброситъ съ себя всю шелуху человѣчности, обнаживъ ликъ звѣря. Для Соловьева не-церковная культура обладала какой-то убѣдительностью, какимъ-то отраженіемъ убѣдительности. Для насъ, она не обладаетъ ничѣмъ. Духовные крошки, падающіе съ христіанскаго стола, освящаютъ, въ какой-то мѣрѣ, всѣхъ людей, поѣдающихъ ихъ, но это освященіе Таинствомъ не имѣетъ магической значимости, а значитъ является для гуманныхъ анти-христіанъ лишь вящимъ осужденіемъ. Паразитарно-христіанское состояніе « лаической » Культуры, для насъ, не поводъ къ ея конечному спасенію, а наоборотъ, большой поводъ къ ея осужденію... Иначе придется соблазняться « хорошими » людьми не исповѣдующими Бога, пришедшаго во плоти.

Внутренняя ложь гуманныхъ нехристіанъ въ томъ, что въ нихъ нѣтъ, реально нѣтъ любви къ человѣку, *какъ къ человѣку*. Ихъ любовь и состраданіе не идутъ дальше членскаго духовнаго билета « Общества покровительства домашнимъ животнымъ ». Эти люди находятся въ апокалиптическомъ духовномъ тупикѣ, за тонкой стѣнкой котораго, невидимо для нихъ, открывается Царство Звѣря. Звѣрь покровительствуетъ покровителямъ домашнихъ животныхъ. Покровительство звѣря есть, въ данномъ случаѣ, покровительство Культурѣ, потому что гуманный нехристіанинъ видитъ въ культурѣ домашнихъ животныхъ точный прообразъ человѣческой культурности (Авторъ этихъ строкъ слы-

шалъ это апокалиптическое сравненіе отъ одного средняго — « леонтьевскаго » — европейца).

Мірская Культура, сдѣлавшая изъ средствъ борьбы съ грѣхомъ цѣль грѣховнаго самовозношенія, утерявшая этимъ связь съ Богомъ, замѣнила заповѣди — предразсудками. Неудобный для одного грѣха другой грѣхъ, люди стали убивать третьимъ грѣхомъ. И въ апокалиптическомъ полѣ смѣшенія всѣхъ нравственныхъ богочеловѣческихъ понятій выростаютъ махровые цвѣты богомерзкихъ автономій « чести », « достоинства », « солидарности », « уваженія » — и прочихъ наивныхъ предразсудковъ, оторвавшагося отъ Бога человѣчества.

« Бестіализмъ », мѣткое понятіе Н.А. Бердяева, долженствующее характеризовать истинное устремленіе 99 % нашихъ современныхъ проповѣдниковъ « христіанскаго меча », — есть несомнѣнная поправка къ соловьевскому культурному апокалипсису. Можетъ быть Н.А. Бердяевъ воспротивится тѣмъ выводамъ, которые мы сдѣлаемъ изъ часто теперь имъ употребляемаго слова : « бестіализмъ », но для насъ оно — симптомъ. Симптомъ того, что бестіальность начинаетъ проникать въ Культуру, *въ видѣ ея полноправной категоріи.* Если полностью этого никогда не случится, то только потому, что культура, въ своихъ догматическихъ провозглашеніяхъ условностей, опять струситъ, и опять солжетъ, чтобы существовать.

Но все же — нельзя не сказать это съ крупнымъ удовлетвореніемъ — міровая война (« первая изъ »), и міровая революція (пусть пока потенціальная) выдвинули многое такое, о чемъ трудно было говорить въ девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія.

Начиная со шпенглеровской исторіософіи, по существу безсодержательной, но интересной кой-

какими подробностями пророчествъ, въ историческoй наукѣ, повидимому, будутъ мириться со многими вещами... Американская прагматическая философія со своей стороны открываетъ культурѣ горизонты несомнѣнно чреватые неожиданными послѣдствіями... Математическія выкладки Эйнштейна, конечно, не останутся достояніемъ одной физики. Набухающая въ отдаленіи новая человѣческая лже-культура будетъ грубѣе и безцеремоннѣе нынѣшней. Уже въ нашей русской культурѣ пореволюціонныхъ лѣтъ бестіализмъ, сдѣлавшись объектомъ « точной науки », пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе почетное культурное гражданство. Мы знаемъ, какъ относится Н.А. Бердяевъ къ бестіализму; но уже тотъ фактъ что къ бестіализму какъ-то начинаютъ *относитъся*, этотъ фактъ самъ по себѣ значителенъ. Многіе скажутъ : негативно-значителенъ; мы скажемъ : позитивно-значителенъ.

Звѣрю въ какой-то степени прискучило все лгать. Онъ вздумалъ пріоткрыть правду. Не истину — которой у него нѣтъ — а правду. И что же : люди, міръ — *не повѣрили звѣриной правдѣ*. Звѣрь лжетъ, — люди спокойны, вѣрятъ. Звѣрь выложитъ правду, люди недоумѣваютъ и — не вѣрятъ.

Не въ томъ ли апокалиптичность, что Звѣрю понравится двойное невѣріе людей, и онъ распояшется безъ опасенія, что люди повѣрятъ его правдѣ.

Соловьевъ думалъ, что ложь будетъ безконечно въ бытіи міра итти лишь со стороны Звѣря (говорю о лжи « педагогической »), гдѣ культурные люди все время будутъ нравственно высоки и чутки, что заблуждаться будутъ главнымъ образомъ, — не *по своей винѣ*. Не является ли предлагаемая здѣсь возможность полнаго самообмана людей — большимъ утвержденіемъ богословской *свободы человѣка?*

Дьяволъ лжетъ и обманщикъ. А люди? *Развѣ Адамъ — жертва?..* Развѣ зло, царствующее въ мірѣ не есть прямое доказательство цѣнности человѣка, какъ свободной, богоподобной твари?.. У Соловьева не дооцѣнено личное участіе человѣка въ обманѣ историческаго Апокалипсиса. И поэтому его, несомнѣнно либеральная, схема конца міра можетъ — и даже очень — быть, въ реальности, поколебленой.

Не скрытъ ли, въ возможности, со стороны слѣпыхъ людей — не вѣрить реально-безобразному лику Звѣря — последний обман зла?

Бестіальный исходъ земли намъ кажется, сейчасъ, болѣе достовѣрно апокалиптичнымъ.


ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПИСЬМА

ИВАН БУНИН

БУНИН Иван Алексеевич (1870-1953)
Знаменитый писатель и поэт.
Первый русский Нобелевский лауреат 1933 г.

Мой дорогой, дай Бог успеха. На меня особо не рассчитывайте. Я очень занят и весь в « Возрождении ». Но что-нибудь пришлю (но не для первого №, конечно). И высказываться « по литературной теории » тоже не обещаюсь — минуты свободной нет, как всегда летом.

Целую вас. *Ив. Бунин*

1925

Дорогой, *сейчас* ничего нет. Кроме того : какой журнал ? Ежемесячный, еженедельный ? Кто сотрудники ? Кто редактор ? и т.д. и т. д.

Ваш Ив. Бунин.

Мы в Грассе до 1 Декабря.

1925

24 августа 1925 года

Дорогая Вера Николаевна,

я крайне удручен отказом Ивана Алексеевича.

Мне чрезвычайно трудно литературно реализовать открывшиеся мне материальные возможности : стараюсь и буду стараться как могу, своими силенками, но неужели я не достоин минимальной под-

держки? хотя бы того кто знает мою беспомощность? Я не ставлю вопроса лично, потому что знаю отношение ко мне Ивана Алексеевича. Я только спрашиваю себя — неужели по всему видно, что мое предполагаемое журнальное дело (о котором я письменно сообщил Ивану Алексеевичу) культурно ниже хотя бы Филипповского дела, где были напечатаны стихи, подобные которым я просил (хотя бы один) для моего первого №? Мне кажется оно не ниже.

Я более чем понимаю скептицизм — думаю не ошибиться назвав это слово — Ивана Алексеевича, к моему начинанию. Но ведь я готов решительно на все, для Ивана Алексеевича. Я готов ему сообщить перед отдачей номера в набор, имена всех сотрудников и характер всех произведений номера. Я готов буду отослать обратно присланное Иваном Алексеевичем, если он этого в результате захочет. Я только одного прошу настойчивостью глубокой и человечной у Ивана Алексеевича, — это — не сотруднического отношения к моему несовершеннолетию. За моей спиной никого нету.

Крепко целую Вашу руку, дорогая Вера Николаевна. Очень надеюсь, что хорошо и спокойно Вам живется сейчас в старом Грассе. Не удалось и не удастся мне так-таки побывать у Вас. Но в хорошие места я еду, и, кажется, Вам знакомые. В Швейцарии не останусь, проследую в Италию и на Капри, конечно.

Визу только медлят. Придется пробыть в Бельгии еще дней пятнадцать.

Ваш *Дмитрий Шаховской*

3 сентября 1925 г.

Дорогой Митя, получила Ваше письмо и немного удивилась. Ян никогда не отказывался принимать участие в Вашем начинании. Теперь он настолько занят, что ему некогда даже поискать что-нибудь для Вас. Но все же он просил меня спросить, когда выйдет первый номер? Может быть он и урвет минутку. Ведь Вы знаете, что эти месяцы у Ив. Ал. самая страдная пора. Мы все время проводим в работе, даже иногда по несколько дней сряду не спускаемся с нашей вышки.

Мы в Грассе совершенно одни. Нет ни единой души знакомых, если не считать Ларионова, но ведь его выпускают раз в две недели, и у нас он за все лето был два раза.

Мережковские у сестер в Каннэ. Лето было не жаркое, гораздо прохладнее прошлогоднего, а потому в Каннах было очень терпимо. Куда Вы едете в Италию? Кто у Вас там? Знаете ли Вы, что у бедного Ник. Карл. Кульмана умер от саркомы младший сын? Вот ужасное горе.

Желаю Вам поправиться и отдохнуть.

Душевно Ваша

В. Бунина

Мой дорогой,

Я ничего не могу сейчас послать Вам, я почти все отдаю «Возрождению». Кроме того я должен сперва посмотреть Ваш журнал. Вот Вы были в Сорренто, м. б., и у Горького были...

Имейте терпение и не сердитесь на меня.

Любящий Вас (если Вы не были у Горького)

Ив. Бунин

Мой дорогой молодой друг,

Когда же должна выйти Ваша первая книжка, т. е. первый № « Благонамеренного » ?

Напишите мне, равно и то, что именно из беллетристики у Вас будет.

Что до гонорара, то Вы очень ошибаетесь относительно « Современных Записок ». Впрочем это не мое дело. Я трехсот франков никогда не получал. Кроме того: франками теперь брать нельзя. — франк все падает и падает.

Моя цена такая: пятьдесят американских долларов (уплата долларами, а не франками) за 35000 знаков (то есть за обычный журнальный лист). И в этом случае могу дать вещь листа в три. Но думаю, что для Вас это непосильный расход. И если так, можно дать рассказик величиной около полулиста чохом, за двадцать пять долларов.

Впрочем, есть ли у Вас способ пересылать валюту ?

Целую Вас,

Ваш *Ив. Бунин*

Брюссель 1925

Дорогой Иван Алексеевич,

Слюнки потекли от « вещи листа в три ».

Об ней судьба разрешает мне только сейчас мечтать.

С письмом Вашим говорил сию минуту — в типографии — с издателем (Григ. Соколовым) — о « полулисте ».

Условие подходит, если разрешите Вы заплатить Вам по отпечатанию журнала, т. е. не сию минуту. Но для нас Иван Алексеевич

безумно важно получить от Вас рассказ сейчас же, с обратной почтой. Я держу в руках корректуру первого печатного листа, который должен быть уже отпечатан (в 1000 + 30 экз.) (мы печатаем по листам, немного кустарно). В конце второго листа Ваш рассказ, начинающий второй отдел журнала: « Прозу » (1-ое отд. — « Поэзия »), а второй лист тоже набран и « отодвинувшись » (после прибытия Вашей рукописи) должен будет также сейчас же, печататься, т. к. время не ждет. К 1-ому января журнал выходит непременно. Если по нашей вине задержится набор — типография не ответственна за срок выпуска. Это нам зарез.

Дорогой Иван Алексеевич, Вы понимаете, как мне хочется получить от Вас рассказ, но Ваше материальное устройство для меня важнее. Очень прошу Вас, если неудобно Вам, чтобы мы заплатили двадцать пять долларов по выходе рассказа — прямо плюнуть на Благонамеренного. Если же Вам действительно все равно — жду от Вас рукопись сейчас же, с обратной же, Иван Алексеевич.

Прежде чем сказать — кто участвует в беллетристическом отделе, разрешите сказать, кто туда приглашался. В этот отдел ни один « старый » писатель не приглашался. Здесь будут напечатаны 4 рассказа двух молодых и, на мой скромный взгляд, очень талантливых писателя ! Георгия Цебрикова и Бронислава Сосинского (последний « лауреат » « Звена », первый нигде еще кроме как в Испании и в « Воле России », куда он дал свои « 3 года в стране ацтеков » — не печатался).

В качестве добавления к предыдущему письму, могу сообщить, что на днях должен получить для 3-го отд. « Заметки из дневника » Ф.А. Степуна.

Кроме него, велел что-то ждать от себя Ходасевич (Впрочем, если стихи, — то уже поздно).

Спасибо, Иван Алексеевич.

Ваш преданный — *Шаховской*

Дорогой,

Не сердитесь пожалуйста — не могу, по причине бедности. Подождем 2-го №, м. б., Вы будете тогда более богаты или мои дела улучшатся.

Сердечно целую Вас,

Вера просит передать привет.

Ваш *Ив. Бунин*

Понедельник 12-ое октября 1925 г.

Дорогой Иван Алексеевич,

Если можете, пришлите сейчас. Я только что вернулся и нашел, в числе благоприятных писем, иронически-неблагоприятное Зинаиды Николаевны.

Она говорит, что мне бы следовало знать полное отсутствие в ней благонамеренности, и — решительно для всех, начиная с Луначарского и кончая Марковым II, через Вишняка и Милюкова... Я не нашел ни одного слова о литературе. Или это Зинаида Николаевна хочет, чтобы мой журнал был « гражданственным » ? Иначе трудно объяснить позитивную сторону ее иронии.

Целую ручку Вере Николаевне. Глубочайше Вам преданный и заранее о ч е н ь благодарный

Шаховской

Мне жаль было не знать на Капри, где Вы жили. Левая сторона Капри (не глядящая в Неаполитанский залив) изумительна — по всему.

Villa Belvédère
Grasse (A.M.)
22.XI.1925

Мой дорогой,

Только что вернулся, был в отъезде в Ницце и в Каннах — и нашел Вашу телеграмму.

Вы, вероятно, страшно волнуетесь, но, как видите, — не моя вина. Денег еще нет, — как Вы послали их? Через банк или по почте? — но все равно, завтра постараюсь послать Вам что-нибудь. Сейчас спешу сбежать вниз и бросить в ящик эту записочку.

Любящий Вас

Ив. Бунин

Послать могу только экспрессом, конечно, — иначе отсюда нельзя.

Дорогой Княженька,

Вместо маленького рассказа посылаю Вам довольно большой кусок моей путевой поэмы « Воды многия », что, думаю, как нельзя более идет к Вашему журналу, цели преследующему чисто артистические. Как насчет корректуры? Было бы страшно хорошо, если бы Вы мне ее прислали, — я бы ее в тот же день вернул. Но уж если этого никак нельзя сделать, будьте добры прочитать сами, так, чтобы ни одна моя запятая не была искажена. В такой вещи каждый звук должен быть на своем месте.

Целую Вас, прошу подтвердить получение рукописи и сообщить мне содержание номера.

Ваш *Ив. Бунин*

Только что хотел запечатать конверт — принесли деньги от Вас. Спасибо!

Мой дорогой,

Что же это Вы мне ни словечка — получили ли рукопись и что Ваш журнал, когда он выйдет? Мне все это нужно знать.

Пожалуйста напишите

Ваш *Ив. Бунин*

Villa Alba
Le Cannet (A.M.)
2 Дек. 25 г.

Дорогой, мы в Париже:
33, rue de Lubeck, Paris XVI
Пришлите журнал, если уже вышел.

Ваш *Ив. Бунин*
1926
Суббота

Дорогой,

Я только что получил Вашу карточку. Приходите, если можете, нынче в 5 или в 6 — я буду свободен только в это время,

Ив. Бунин

Лучше нынче. Если не можете, — завтра в 2.

Дорогой, получил Ваше письмо. Спасибо, что мало опечаток. Очень прошу — немедленно, экспрессом, пришлите мне «Воды многие» в печатном виде (хотя бы в самом грязном) — Мне очень нужно дать переводчику. Мы еще в Cannet: Villa Alba, rue Jonquière, Le Cannet (A.M.)

Любящий Вас *Ив. Бунин*

Извините, дорогой, — была операция и до сих пор еще очень слаб. На днях приехал в Grasse

(A.M.), Villa Belvédère. Когда выходит 3 книга журнала и что в ней будет?

Ваш *Иван Бунин*

Вера Вам пишет отдельно.

(Мая 1926)

Villa Belvédère
Grasse (A.M.)
1926 г. 15 мая

Дорогой Митя, простите, что долго не отвечала. Причины Вы, вероятно, уже знаете, т. к. в газетах появилась к нашему неудовольствию, заметка об операции Яна. Ваше письмо пришло в самое трудное для нас время, — когда Ян решался на этот шаг. Потом мы жили в больнице, где почти не спали. Затем, с завязанными чемоданами, несколько дней ждали, живя в гостинице, спальных мест для переезда на юг. Теперь мы в Грассе, на вилле Бельведер. Операция прошла удачно, но Ян довольно медленно поправляется. Я тоже устала в достаточной мере, так что даже тишина не радует. Погода скверная: дождь, холод — не май, а ноябрь!..

Я очень тронута, что Вы вспомнили обо мне, но я пока еще не печатаюсь.

Пригласите Екатерину Михайловну Лопатину, у нее есть теперь готовые вещи. Только напишите какой размер вещи Вы хотели бы иметь от нее, — она из длинных писатей. Ян Вам уже о себе сам написал.

Будьте бодры и здоровы.

Душевно Ваша

В. Бунина

Villa Belvédère
Grasse (A.M.)

Извините, дорогой, Веру Николаевну — она

все это время чувствовала себя необыкновенно плохо, — слабой, вялой, — вероятно, больше всего из-за ужасной погоды, которая стоит у нас. Да и не спешили мы отвечать на Ваш вопрос относительно того, что я дам для следующей книги « Благонамеренного », потому что Вы писали о необходимости дать себе передышку в выпуске журнала. Теперь, видимо, уже пора ответить и я отвечаю : я, может быть, дам окончание « Вод многих », которое немного более того, сколько я дал Вам в прошлый раз, и при том условии, если журнал вышлет мне 30 американских долларов американскими бумажками в заказном, так называемом « ценном » пакете. Как получу их, так и вышлю рукопись. Не скрою — Вяч. Иванов меня несколько беспокоит. Говорят, он большой большевизан. Но точно ли это ? Надеюсь, что Вы меня об этом известите, равно как и вообще о предполагаемом содержании номера.

Вера Вам кланяется, я желаю Вам всего доброго.

Ваш *Ив. Бунин*

23 июня 1926 г. Брюссель

Дорогой Иван Алексеевич,

В моей жизни произошли перемены. Меня благословили на монашество и я уезжаю на Афон, где приму послух. Осенью возвращусь в Париж, где буду, пока, пребывать на Сергиевском Подворье, в Духовной Академии. Жду сейчас визу в Грецию.

Все это произошло — формально — в самое последнее время.

Благонамеренный, конечно, прекращает свое существование, сегодня я отсылал рукописи.

Дай Вам Бог, и Вере Николаевне, всего лучшего и светлого.

Шаховской

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ХОДАСЕВИЧ Владимир Фелицианович (1886-1939)
Известный поэт и критик.

Автор биографии « Державин », мемуарист (книга воспоминаний « Некрополь », 1939, Брюссель).

С 1922 г. Ходасевич стал эмигрантом. В Париже был редактором литературного отдела газеты « Возрождение » и сотрудником очень многих эмигрантских периодических изданий — « Современные Записки », « Воля России ». Умер в Париже.

Буду рад видеть Вас у себя, в воскресенье, 9 авг., в 3 часа дня.

8bis, rue Amélie, Pretty-Hôtel, комн. 41. (Métro La Tour Maubourg).

Простите, что пишу без обращения : Вы не сообщили своего имени и отчества.

Владислав Ходасевич

7 авг. 1925
Париж

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Тому назад уже с месяц я написал Вам письмо, но Алданов сказал, что Вы в Италии. Я решил, что ежели редактор накануне 1-го № поехал в Италию — значит, журнал либо не состоится, либо сильно отсрочится. Поэтому, что было, грешник, отдал в другие места. Потом пришло от Вас стихотворение. Штемпель — Рим, адреса нет. Решил подождать Вашего возвращения в Брюссель. Теперь, хоть с опозданием, благодарю за посвящение и за память. Но горе в том, что все это время я по уши погрязал в заботах о пропитании, т. е. в редактировании (с Алдановым) лит. отдела « Дней ». Писал (и еще пишу) какие-то фельетоны о советских писаниях и вельможах. Вот и сейчас должен заканчивать цикл

из 4-х фельетонов : « Белый коридор ». Это место в Кремле, где жили Каменевы, Луначарские, Демьян Бедный. Я приложу все, все, все усилия, чтобы прислать Вам хоть что-нибудь, но готового нет сейчас ни единой строки. Если же на самых ближайших днях не смогу Вам послать ничего — Вы не обижайтесь : это не от недостатка сочувствия Вам и Вашему начинанию. Я же не обижусь, ежели, не дождавшись, Вы выпустите № 1 без меня. Главное — не могу поручиться, когда смогу что-нибудь прислать, — и не хочу Вас задерживать.

Жена моя *) благодарит за приглашение. Завтра или послезавтра она пошлет Вам стихи.

Теперь вот еще что. Видаете ли Вы « Дни » ? Теперь это большая газета, вдвое больше берлинской. Смею думать, что лит. отдел (по воскресениям) в ней лучший из всех, существующих в эмиграции. Говорю это не стесняясь, т. к. тут не моя заслуга, а преимущественно М.А. Алданова. Я « управляю » только стихами и всем, что касается советской словесности. Так вот, я не знаю, каковы Ваши политические воззрения, точнее — чувствования. Если Вы не считаете невозможным печататься в газете, один из редакторов которой — Керенский, я буду очень рад, если пришлете стихи. Если же не хотите — так и скажите, я люблю ясность. И не обижусь, ибо я — не Керенский. Заметьте, однако, что литер. отдел абсолютно автономен и находится в исключительном ведении у нас с Алдановым. По-моему — пришлите-ка стихов. Пока что напечатаны стихи М. Струве, Оцупа, Берберовой, Цветаевой, Одоевцевой. Еще сотрудничают — Б. Зайцев, Ремизов,

---

*) Нина Берберова.

Степун. Вообще, приблизительно — « Совр. Записки ».

Будьте здоровы. Жму Вашу руку и жду ответа.

Владислав Ходасевич

Мой окончательный адрес : Villa Roger, av. de Louvois, Chaville (S.O.)
Chaville, 26 окт. 1925.

« БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ »
журнал
Русской Литературной Культуры

Брюссель

Глубокоуважаемый
Владислав Фелицианович,

Большое спасибо за приглашение прислать стихи в « Дни ». Шлю два и очень огорчен, что больше нет. Совсем недавно отослал три стихотворения в « Волю России ». Пишу я не много. (« Ваше » стихотворение — единственное, написанное мной за месяц в Италии). Кроме того, летом я, вместо стихов, писал поэму. (если не « песен в двадцать пять », то, все же, строк в пятьсот). Мне совестно, что я вам предоставляю такой маленький выбор. Если подождете выбирать, — постараюсь подослать еще. « Дни » я не читаю. В Брюсселе их очень сложно находить. Василий Васильевич Сухомлин обещал мне бесплатную присылку этой газеты, но она, как раз, в это время, затеяла свой берлинский исход и обещание, повидимому, затерялось.

Очень надеюсь, что если Вы включите меня в число эпизодических сотрудников, мне можно будет получать газету.

Теперь, разрешите, о « Благонамеренном » : жду стихи Вашей супруги и непременно жду то, что Вы еще не совсем, как будто, обещали — Ваше участие в 1-м номере Благонамеренного.

Не берусь сравнивать журнал с « Днями », но « Благонамеренный » не хочет быть « Благонамеренным », в смысле только своего отношения с сотрудниками... (Это его, правда, « неначертанная » программа).

Я понимаю некоторую затрудненность, для Вас, дать серьезный матерьял для журнала туманного, собираемого человеком совершенно неизвестным (да еще придумавшим такое « эксцентричное » название, как « Благонамеренный »).

Но как бы ни было выполнено задание, оно хочет быть серьезной попыткой, в очень трудных матерьяльных (от слова *матерьялы)*, условиях эпохи эмиграции *), дать « журнал русской литературной культуры ».

Преданный Вам,

Шаховской

Chaville, Villa Roger, 3 ноября 1925

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Спасибо Вам за стихи, но, как сами предлагаете, — подожду, чтобы Вы прислали еще. Дело даже не в « выборе », а вот в чем : стихи о Помпее мне не хочется печатать без посвящения, а с посвящением — в газете, где я редактирую отдел стихов, мне неловко помещать стихи, м н е же посвященные.

---

*) И в нелегких условиях доверия — (политического, конечно) со стороны « имен ».

Поэтому « Помпею » я предпочел бы увидеть в другом месте, хотя бы в « Благонамеренном ». Остается, следовательно, « Разлука », т. е. семь строк, которые займут, вместе с пропусками между строфами, с заглавием и подписью, буквально вот столько места, —

и будут иметь вид
маленького ярлычка
в левом верхнем
углу огромного листа.

Это будет для них и для Вас убийственно невыгодно. Итак, буду ждать, чтоб Вы прислали еще. Если вновь будут короткие пьесы — не беда : напечатаем сразу три, четыре, пять, в том числе и « Разлуку ».

Далее, Вы с гонорарами не деликатничайте. Гонорар — дело великое. Но не страх не получить его (я все же не жаден) — а отчаянная заваленность мешает мне что-нибудь дать сейчас в « Благонамеренный ». К завтрашнему дню я должен кончить 3-й фельетон для « Дней » о кремлевских нравах « литературных » — 2 уже напечатаны. Завтра же должен написать статейку для « Совр. Записок », у которых я в полном денежном и сердечном рабстве. А завтра среда. Уверен, впрочем, что со статейкой провожусь и четверг. В пятницу отвезу ее и весь день пробуду в Париже. Настанет суббота, 7 число. А по воскресеньям у меня гости. А в понедельник — приемный день в « Днях ». Следственно, хорошо, ежели к 12 числу я закончу еще одну статью — для какого-то английского ежегодника. Я ее обещал 2 месяца тому назад и должен отослать так, чтобы к 15-ому она была в Лондоне.

Вот Вы и видите, что только 15 числа я смогу подумать о « Благонамеренном ». Печатайте его, следовательно, без меня, а если я вскоре пришлю что-нибудь и окажется возможность еще втиснуть в первый № — буду очень этому рад.

Клянусь : был вчера в городе и — на жел. дороге, в трамвае, в кафэ пытался написать стихи для « Благонамеренного ». Но вышло плохо, послать не могу.

Завтра скажу, чтобы Вам высылали « Дни ».

Будьте здоровы.

Владислав Ходасевич

Милый Дмитрий Алексеевич,

Спасибо Вам за журнал. Получил и прочел. На письмо же предпоследнее Ваше не отвечал потому, что надо было или ответить делом, т. е. что-нибуть Вам послать для 1-го № — либо нечего было и отвечать. А я был нищ и стихами, и прозой. Поэтому — простите за молчание.

Теперь вот что. Ваши мелкие пьесы плохо будут выглядеть (не знаю, за что бранят это слово !) в газете. Они очень лиричны и философичны. Им место в толстом журнале, читатель которого имеет время стихи раскусить. А читатель газетный их не оценит. Поэтому сперва помещу белые стихи, менее хрупкие. Они пойдут в № от 31 января : именно тогда дойдет до них очередь. Я печатаю стихи в порядке поступления рукописей. А мелкие напечатаю в Вашу вторую очередь — если Вы их не захотите заменить другими, более подходящими для газеты. Об этом жду Вашего распоряжения. « Благонамеренный » мне в общем по душе; радостно

видеть после огромного перерыва — журнал чисто-литературный. В частности мне кажутся очень ценными (как всегда) заметки Степуна. Талантлив, хоть и не зрел, Сосинский. Интересна, хоть, по обычаю, оспорима статья Святополк-Мирского. Про Ваши афоризмы умолчу, чтобы не вышла у нас история петуха и кукушки. Впрочем, не скрою, что Ваша похвала приятно пощекотала мое авторское самолюбие. Спасибо Вам, хоть, конечно, писали Вы не для того, чтоб доставить мне удовольствие. Мне в таких случаях всегда совестно благодарить : ведь не о моем маленьком тщеславии Вы заботились. Конечно, есть и недостатки. О них скажу подробнее, потому что, быть может, мои заявления Вам отчасти пригодятся. Во-первых — плохи стихи. Цветаева — лучше всех, но далеко не лучше самой себя. Г. Иванов — приличен, но бледен. Адамович — тоже. Одоевцева — бледная немочь. Диксон — туда-сюда, но читал Ходасевича. Глеб Струве попытался писать за того же Ходасевича, — но неудачно. Стих : « Два белых ангельских крыла » — из Ходасевича слово в слово (« Тяж. Лира » — Автомобиль). Гингер лучше других, потому что он хоть и « скользит и падает » на каждом шагу — но по крайней мере хоть более или менее по-своему. Главное — всех этих стихов с успехом могло не быть.

Но, конечно, за плохой урожай Вы не отвечаете : сейчас вообще мало на свете хороших стихов. А вот — промахи Ваши лично, редакторские. 1) Не следовало помещать статью Мочульского об антологии пролетарской поэзии, п. ч. тот же Мочульский о той же книге писал в « Звене ». 2) По той же причине неприятны рецензии Свят. Мирского о Бабеле, Пастернаке и Мандельштаме : это — варианты его же рецензий о тех же книгах — в « Совр. За-

писках ». 3) Подпись Д.С.М. в неосведомленных читателях родит курьезное предположение, будто рецензии написаны... Д.С. Мережковским. 4) Не стоило помещать рецензию о « Звене » : вряд ли эта газетка стоит внимания со стороны « толстого » журнала. 5) Убога рец. Черновой на книгу Цветаевой. Я эту рецензию в свое время вернул автору, принесшему ее в « Дни ».

Как видите, упреки мои очень мелочны, но я не виноват, что крупных ошибок Вы не сделали.

В « Днях », конечно, будет сочувственная рецензия о « Благонамеренном ». А на мою ворчню не гневайтесь : она продиктована искренним доброжелательством. Если б я промолчал о том, что мне не нравится, я бы чувствовал себя перед Вами неправдивым.

Пожалуйста, напишите мне точно и ясно, когда выйдет 2-ой номер, и когда — крайний срок для присылки материала. Кажется, будут стихи (одно уже есть).

Очень хороша внешность журнала. Кажется, это вторая или третья книга в эмиграции, не страдающая типографской неграмотностью.

Будьте здоровы.

Преданный Вам *Владислав Ходасевич*

Chaville
17 янв. 1926.

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Буду очень рад повидаться. Жду Вас в воскресение, 24 числа. Лучше всего — приезжайте пораньше, т. к. по воскресеньям у меня иногда бывает народ часам к 4. Вы же приезжайте, повторяю,

раньше. Очень хороший поезд отходит в 2 ч. 11 минут от вокзала Montparnasse.

Поговорим до прихода других людей.

Адрес Вы знаете: Villa Roger, av. de Louvois, Chaville. Но, чтобы Вам не расспрашивать, — вот Вам план; держа его в руках, найдете меня без труда.

[Следует план.]

Пунктиром обозначен Ваш путь (7 минут).

Жду. Будьте здоровы.

В. Ходасевич

22 января, Шавиль.

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

У меня возникло к Вам довольно серьезное дело. Кроме того, Вы забыли у меня стихи Кнута. Поэтому с особой настойчивостью напоминаю, что в воскресенье Вы обещали побывать у меня. Время — безразлично.

Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич

Chaville
26 янв. 1926.

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Сегодня 19 число, а я только третьего дня отделался от разной ерунды, вроде статей и фельетонов. За « Сорр. фотографии » сел и надеюсь написать их дней в 5-6. Сейчас готово около 90 стихов. Всего будет, я думаю, 170-200. Уверяю Вас, что Вы можете смело начать набор со второго листа, если

не хотите подождать до 1-го марта : к этому сроку пришлю стихи непременно. Нина Ник. пришлет поэму (она — « ироническая ») к 3-й, а не ко 2-й книжке, на то есть причины. А знаете что ? « Ирония » эта меня смущает. Не вышло бы суетливо. Не отложите ли отдел до одной из дальнейших книг. Для начинающего журнала, да еще и без того упрекаемого в незрелости, в таком отделе — огромный риск. Очень советую Вам хорошенько обдумать это. Вы человек пылких, необузданных страстей и можете повредить журналу. Простите за совет : он подсказан расположением к « Б-му » и к Вам лично. Мне не хочется, чтобы Вы портили себе « карьеру », а при « иронич. » отделе это может случиться. Я имею в виду не личные обиды (надеюсь, можно их избежать) — а всеобщую сейчас нелюбовь к шутке и смеху. Вы скажете : можно приучить. Да, но не на первых порах.

Будьте здоровы. Крепко жму руку

Ваш *В. Ходасевич*

Напишите, пожалуйста, сей же час : ждете Вы « Фотографий », или начинаете наборы со 2 листа — или и ждать не хотите.

В.Х.

19 февраля 1926.

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

посылаю Вам « Соррентинские фотографии ». Я даже поеду сейчас в Париж и там их отправлю, чтобы они не лежали лишние сутки на здешней почте.

Со своей стороны прошу — пошлите мне гонорар с такой же незамедлительностью. Всего вышло

182 стиха, т. е. 546 франков. Последнюю неделю я сплошь просидел над этой вещью — и совершенно обнищал. На чеке, почтовом переводе и т. п. надобно писать меня так :

V. Hodassevitch

Нина Николаевна посылает два стихотворения. Не знаю, каковы Ваши догадки о причине, по которой она не дает своей шуточной поэмы сейчас. Но вот — истинная причина: псевдоним, конечно, сейчас же раскроется, и выйдет какая-то безвкусица в том, что рядом , в одной книжке, — мои серьезные длинные стихи — и ее — дурашные. Больше причин нет.

Будьте здоровы. Жму руку.

Ваш *В. Ходасевич*

27 февраля 1926.

Chaville, 1 марта 1926

Совершенно необходимо, дорогой Дмитрий Алексеевич, конец напечать не как я Вам послал, а вот эдак:

Воспоминанье прихотливо.
Как сновидение — оно
Как будто вещей правдой живо,
Но так же дико и темно
И так же, вероятно, лживо...
Среди каких утрат, забот,
И после скольких эпитафий,
Теперь, воздушная, всплывет
И что закроет в свой черед
Тень соррентинских фотографий.

Как видите, переделка касается только последних пяти стихов — но она обязательна. Посылаю теперь же, чтоб Вы могли завезти ее прямо в типографию. Однако я чрезвычайно и настоятельно прошу прислать мне корректуру. Обязуюсь отослать ее обратно буквально в тот же день. Таким образом, посланная с вечера, она через день утром будет уже у Вас. Но без корректуры я не выживу.

Послезавтра, в среду, я переезжаю и потому мне пишите теперь по парижскому адресу:

14, rue Lamblardie, Paris XIIe

Жму руку. Ваш *В.Х.*

Кажется, есть еще одно дело, но сложное. Я тороплюсь. Напишу на днях.

14, rue Lamblardie
Paris (12e)

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

от Вас давно нет известий. Меж тем, мне, по разным причинам, важно знать, скоро ли выйдет 2 № « Благонамеренного » — и выйдет ли, т. к. здесь ходят упорные слухи, будто журнал прекращен. Я вообще знаю, что такое « слухи », и знаю, чем они порой вызываются. Однако, хотел бы слышать и Ваше слово.

Ваш *Владислав Ходасевич*

Ваше стихотворение напечатано. Видели?

14, rue Lamblardie
Paris (12e)

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

я уже три недели лежу, болен. Сегодня впервые встал, и то лишь на несколько часов. Потому и не писал Вам.

2-м № « Благонамеренного » я персонально обижен. Во-первых, не выполнено обещание напечатать « Сарр. фот. » о т д е л ь н о. Припомните. Это было обусловлено.

Во-вторых, Свят. Мирский « третирует » меня в строчку с Волошиным. Я бы его, Свят. Мирского, не ставил на одну линию ни с Мельниковой-Папаушек, ни с Даманской.

В третьих. Вот уже 3 недели, как журнал вышел, а 2-ую половину гонорара мне до сих пор не прислали. Между тем — я человек рабочий, давно занял ее у одного знакомого « до выхода Благонамеренного ». Судите — каково мне теперь смотреть ему в глаза : он знает, что « Бл. » вышел, а денег я ему не отдаю...

Я почему-то ждал Вас в Париж. Но Вы, видно, не собираетесь. Так не посодействуете ли мне в получении денег ?

Жму Вашу руку —

Владислав Ходасевич

14, rue Lamblardie
Paris (12e)

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

уже послав Вам тревожный запрос о « Благонамеренном », я чуть не на другой день прочел в « Посл. Нов. » заметку о содержании второго №. Вы сами виноваты : почему не прислали такую же в « Дни » ? (Кстати : пришлите, я напечатаю в след. № воскресном; взять из « Посл. Нов. » не могу : потерял тот №). Итак, очень рад, что слухи, как я и думал, — всего лишь слухи. Рад также, что в № 3 идет Муратов и что вообще № 3 будет. « Дело » же было психологическое и очень « стыдное ». Однажды, в конце, кажется, февраля, В.В. Вейдле попросил у меня Ваш адрес говоря, что хочет Вам кое-что предложить. Я дал адрес и велел Вам кланяться (о, ужас !) Сделал это с удовольствием, п. ч. я Вейдле люблю и ценю, и его участие считаю для « Благонамеренного » очень ценным. Каков же был мой ужас, когда я узнал, что он предложил Вам статью обо мне ! Вы подумайте каково мне, на старости лет быть заподозренным Вами в приемах, достойных Марины Цветаевой ! Ведь выходило, что я, конечно, знал, о чем пишет Вам Вейдле, раз дал адрес и даже послал поклон ! — Вот я и хотел было Вам написать, побожиться, что я « этим не занимаюсь ». Но торопился, не написал в том письме, а потом узнал, что Вы от статьи отказались или полуотказались, — следовательно, не восприняли предложение Вейдле, как инспирированное мною. Поэтому я и забыл об этом деле, и не писал бы, кабы Вы не напомнили. Чтобы до конца быть откровенным, скажу, что меня скорее огорчает Ваша холодность к Вейдле (не к статье обо мне). Еще раз — я был бы рад его участию в « Благонамеренном ». Но тема

о Ходасевиче, повторяю, здесь не при чем, и если она Вас почему-нибудь не устраивает (хотя — почему, собственно?) — Аллах с ней. Но вообще Вейдле — это хорошо.

Вот и все « дела ».

Н.Н. ждет письма « по одному делу » и шлет привет.

Ваш *Владислав Ходасевич*

Помните ли о хорошем обычае давать авторам оттиски? Жду оттисков « Сорр. фот ». Нет надобности их брошюровать, как делал « Аполлон », но оттиски очень нужны. Какова практика « Благонамеренного » ?

Цветаева и Свят. Мир. затеяли свой журнал, « Версты ». № 1 на днях выйдет, печатается. Св. М. читал здесь декларативную лекцию, разослав приглашения принять участие в прениях. Однако, из приглашенных были только Бунин, Алданов и я. До прений не досидели, ушли после доклада, кот. оказался такой белибердой, какой никто (ни я) от Свят. не ожидал. Это был его провал, который мы отпраздновали с Буниным и Алдановым в кабачке.

Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Дмитрий Петрович, князь. (1890-1939).

Литературовед и историк литературы.

Известный критик, покинул Россию в 1922 г. Жил в Лондоне, где преподавал русский язык в Кингс Колледж Лондонского Университета (с 1922 по 1932) Выступал как публицист, был одним из теоретиков движения евразийцев. Основатель журнала « Версты » евразийского направления. Автор двухтомной « Истории русской литературы » на английском языке (1926-27). Вернулся в СССР в 1932 г. — скончался в концлагере на Колыме.

214, rue de Bécon
Courbevoie (Seine)

12 августа 1925

Многоуважаемый Князь,

очень рад буду быть Вам полезным если могу. Но полагаю что дело требует личного свидания, каковое и прошу Вас назначить по Вашему удобству : в течение этой недели я все время свободен.

Преданный Вам

Д.С. Мирский

214, rue de Bécon
Courbevoie (Seine)

14 августа 1925 г.

Дорогой Князь,

простите, что вышло недоразумение. Я понял из Вашей слишком лаконической телеграммы, что Вы ждете меня у себя и был у Вас ровно в тот же час что Вы были у меня; не застав дома сообразил что ошибся и вернулся домой откуда Вы ушли незадолго. Т. к. мне надо было опять в город, заходил к Вам снова на всякий случай. По существу дела

напишу в Брюссель, куда очень хотел бы и приехать (не из-за одних Вас), но боюсь визы не дадут.

Ваш *Д.С. Мирский*

Courbevoie (Seine)
214, rue de Bécon

19 августа 1925 г.

Милый Князь,

очень сожалею, что у нас в Вами ничего не вышло. Статейку я для Вас напишу, сообщите только: 1) когда Вам надо (крайний срок). 2) какой длины.

Рассказы Цебрикова прочел: они очень интересны. Вода даже совсем хорош, только в самом конце взята слишком сентиментальная нота, которая нарушает цельность.

Господин Немчинов тоже интересно задуман, но как целое решительно плох. Хорошо начало. Все что касается старца ужасно несоответственно. Все вместе совсем неубедительно. Связать иронию с религиозной мудростью задача очень трудная и Цебрикову, пока, непосильная. Я бы этого рассказа не напечатал. В ироническом тоне Цебриковым местами не сохранена мера, есть неприятная манерность. Но повторяю Вода совсем хорошая вещь, а Госп. Н. заключает в себе много хорошего.

Посылаю при сем названные рассказы.

Ваш *Д.С. Мирский*

Статью я напишу об общем состоянии Рус. лит., — характера культурно-исторического.

22 августа 1925

Дорогой Князь,

Благодарю Вас за обещанную статью. Сроки присылки не решаюсь Вам указать точно, хотя точно известно, что « Вестник » *) выйдет 1-го декабря. По первому № хлопот, конечно, более чем по какому-либо. Хотелось бы крайним сроком поставить — 1-ое октября, но если можете прислать раньше, пришлите.

Не могу не сказать, что ставлю Вашу статью на самый передний план « ударности » четвертого отдела.

В силу последнего — снова — не решаюсь назвать границы статьи. Думается : пол печатного листа — 8 страниц среднего книжного формата. Отклонение в ту или в иную сторону — на Вашем усмотрении. (Гонорар мы устанавливаем по « Современным записках »).

Мне необычайно жаль, что пришлось выехать из Парижа стремительно и в силу этого не повидать Вас, не поговорить с Вами « как следует ». Мне очень трудно сейчас действовать одному. Если бы я не был уверен в своем критическом чутье гораздо более, чем в своих поэтических талантах, я бы вообще не взялся за то за что взялся. Но я во времени . . . (неразборчиво) не успел еще пропитаться русской исторической литературностью. Не знаю « успею » ли . . . (неразборчиво) и мне крайне нужен тот, кто пропитался. От того можно пропитываться даже говоря с ним о плохой погоде.

Но не о плохой погоде хотел я говорить с Вами в Париже, а о Вестнике выходящем 1-го декабря, и не имеющем даже названия. Вот, только что, получил я письмо от Георгия Иванова. Он, как и Ходасевич, на просьбу совета о названии морщится на

подзаголовок мой: « Вестник Русской Литературной Культуры ». Ему хочется что-нибудь менее суховатое. Имея такой подзаголовок, конечно, можно в заглавии отклониться в сторону некоторым многим любезной, поэтической жеманности, — к « Меркурию и Розе »... Но где предел отклонения, а главное, где само название? Жду от Полонского список старых русских журналов и ими попитаюсь.

Ваше мнение и тут было бы для меня ценно очень. « И тут », — потому что мне очень ценно Ваше мнение о четырех отделах — « вообще » т. е. не надо ли еще чего-нибудь, а так же какие оттенки отделов желательны для Вашего вкуса.

Не помню точно, что я Вам писал.

Поэтический и прозаический отделы мыслятся как выявление нового, но конечно не « нового во что бы то ни стало » **). А вообще — старого, посколь это синоним хорошего и даже — неправда ли? — нового (старое и новое разрезывается по вертикали. Отсюда — новое « новое » и новое « старое »).

Хроники, как « преходящего » — не предполагаю.

Третий отдел — « благородной иронии » — кажется уже берется некоторыми в объектив скептицизма. Это трудный отдел. Если он выйдет — откликнутся на него — может быть лучше будет помещать шутки в прозе и строфы без подписи...

Преданный Вам

Шаховской

*) Это было время собирания материала для журнала, контуры которого еще не до конца были ясны и редактору и даже название его еще не определилось.

**) Редактор был чужд идеи нарочитого « новаторства ». Все подлинное в литературе (как и в жизни) он считал новым.

214, rue de Bécon
Courbevoie (Seine)

9.9.25.

Милый Князь,

простите, что так долго не отвечал : я был в Pontigny где французы занимаются умными разговорами и где очень трудно заниматься чем-нибудь.

Благонамеренного я не одобряю. Название, говорил Пушкин, должно быть такое, чтобы не к чему было придраться и ничего бы не означало. Лучше избежать манерности. Я предлагаю Вам Русский Литературный Вестник — почтенно и бессмысленно.

В Бельгию повидимому не попаду. Статью « О современном состоянии Русской Литературы » пришлю на днях.

Если, дай Бог, Ваш журнал процветет, очень хотел бы написать для него еще более « серьезную » статью — Литературные Итоги Петербургского Периода.

Преданный Вам

Д.С. Мирский

Боюсь, что письмо Вас не застанет. М. б. перешлют.

15 Torrington Sq. W.C.I.
19 октября 25 г.

Милый Князь,

я был так завален работой все это время (корректура и пр. двух книг, начало учебного года и пр.), что не успевал сесть за статью для Вас. Но получив письмо Ваше вспомнил, что я офицер Генерального Штаба, и что для нашей корпорации нет отговорок

отсутствием времени, незнанием или неумением, сел и написал. Что из этого вышло предоставляю судить Вам, мне крайне совестно, что ничего не могу представить лучшего. Очень прошу Вас исключить те части статьи, которые Вам покажутся неуместными (в частности две юдофильские парантезы, упоминание о З.Н. Гиппиус и пр.), но не меняйте отдельных слов и сохраните по возможности мою пунктуацию. Я боюсь что в общем статья вышла слишком политическая, и что хуже совершенно бессвязная. Malheureusement on n'écrit pas ce qu'on veut mais ce qu'on peut.

С З.Н. *) лучше не путаться, что впрочем жалею. Talis perit в ней — artifex не artifex, но что-то такое perit.

Горького я на Вашем месте посетил бы и написал бы об этом в Звене **).

В статье я немножко кривлю душой насчет Алданова, — но что же делать : нельзя же со всеми ссориться.

Преданный Вам *Д.С. Мирский*

Если статья совсем плоха и неуместна, не печатайте ее вовсе.

---

*) З.Н. Гипиус.

**) Этот совет не был исполнен, т. к. Горький не был привлекательным автором для редактора. В характерном совете этом можно видеть уже начертание дальнейшего жизненного и идейного пути Святополк Мирского. « Версты » его тоже предвосхищали.

15 Torrington Sq. W.C.I.
23.XI.25

Милый Князь,

благодарю Вас за письмо и простите, что не сразу ответил: очень уж много дела. Рад Вашему снисхождению. Все-таки предъявляю еще одно авторское право: уничтожьте примечание про Романа Якобсона, если успеете. Много чести. И был бы очень благодарен за корректуру: я до сих пор каждый раз страдал от опечаток в каждой моей русской статье. Моя оценка Достоевского очень расходится с Вашей (как я ее себе представляю), особенно, вероятно, его религиозная оценка, — по мне Достоевский величайший соблазн воздвигнутый Сатаной у самых Врат Церкви. Что же касается до Шпенглера — я не считаю чтобы он был больше чем способный литератор, владеющий довольно приятным немецким стилем (что правда не так легко) и большой мастер втирать очки. Россию же он знает так же хорошо, как я знаю Абиссинию и разбирается так же хорошо в Достоевском как я в Зара-Якобе. Я буду в Париже с 23-го декабря по 13 января. Очень хотел бы Вас видеть. Очень любопытствую увидеть Благонамеренного. Если он выйдет до 13 января (хотя бы и до 23 декабря) пошлите мне его пожалуйста (и деньги), в Курбевуа. Книги которых корректуры я читал в сентябре-октябре:

1) Pushkin (250 страниц)
2) Russian Literature 1875-1925 (350 страниц).

Преданный Вам *Д.С. Мирский*

Когда будет печататься № 2 Благонамеренного? Настаиваете ли Вы на И т о г а х СПБ. периода? Ведь я по службе не кавалерист — смотрите не вышло бы хуже первой статьи.

« БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ »
Журнал
Русской литературной
культуры

Bruxelles, le 27 nov. 1925
87, rue du Commerce

Дорогой Князь,

да, я настаиваю на « Итогах СПБ периода ». Не на этих « именно » итогах, а на статье *предложенной Вами* « Благонамеренному », нужна какая угодно большая статья по « русской литературной культуре », которую Вы *захотите* написать.

№ 2 выйдет к началу марта. К первой половине января рассчитываю быть в Париже, там увидеть Вас и получить статью (страниц 20 ?).

(« Про кавалерию » же — логически если не всякий кавалерист способен на генеральный штаб, то всякий генерального штаба, способен на кавалерию).

Шлю Вам статейку — о Достоевском *) — отчасти.

Мне, сейчас, *совершенно* не ясен Ваш подход к автору « Крокодила ».

Шпенглер — посколь я его схватил — представляется мне конгениальным Достоевскому во многом и я не исключаю возможности, что не понимая *России* он понял (абсолютных пониманий ведь нету !) Достоевского.

Достоевский, как и Шпенглер, оба — гениальные люди средней руки. Гениальность у Шпенглера в победоносном каком-то чутье собственной своей гибели. У Достоевского в этом же чутье, но не научном, а у « врат Церкви », в литературе **).

Преданный Вам *Шаховской*

Если можно, не выкидывайте статейку, а отдай-

те ее мне, — она у меня в единственном экземпляре.

Если знаете каких-либо интересных неизвестных людей для Благонамеренного, — очень прошу сказать мне их имена.

---

*) Статья Шаховского в Парижском журнале « Студенческие годы » янв. 1925.

**) Ясна мысль, что автор литературу (подлинную, — не всякую) считает *вратами* Церкви, как дар Божий людям. Выражение его в защиту Достоевского несет известную иронию в словах о *гениальном* человеке *средней руки*. « Средняя рука » открывается по его мнению (тех лет) в гениальности Достоевского в области литературы и Шпенглера в области историософии.

15 Torrington Sq. W.C.I.
4.12.25

Милый Князь,

при сем прилагаю Вашу статью, которая очень интересна (но зачем Вы подражаете Виктору Шкловскому, умному человеку, но не хорошему стилисту ?). Дело однако не в этом, — ведь яд совсем не в Иване, а в Зосиме и в Алеше. Да и Иван-то не дорос ни до Кирилова, ни до Человека из Подполья. Но ведь эти — честные анти-христиане. А Зосима мерзость в месте святе *). Но вообще довольно об этом.

Петербургский период постараюсь написать для Вас в Париже, где надеюсь не разойтись с Вами так глупо (с моей стороны) как прошлый раз.

Искренно преданный

Д.С. Мирский

---

*) Удивительно это доведенное до пароксизма, суждение К. Леонтьева о Зосиме. Как нельзя более тут видно абсолютизирующее вещи, « российское » суждение.

15 Torrington Square
London W.C.I.
9.12.25

Милый Князь,

постараюсь Вас выручить. Напишу ... (неразборчиво) (но вряд ли академические) рецензии о 1) Федин. Города и Годы; 2) Мандельштам. Шум Времени; 3) Пастернак. Рассказ. 4) Бабель. 5) М. Цветаева. Мóлодец. Сколько успею. Я очень занят. Что касается до гонорара это Ваше дело. Чем больше тем лучше но Вы помнится какие-то высказывали на этот счет мысли еще в Париже*). Чтó пришлю, пришлю скорее.

Видел Ваше объявление в Звене (или Днях).

Ваш *Д.С. Мирский*

Очень прошу Вас сверьте по Пушкину цитату из « Кавк. Плен. » в конце моей статьи : я цитировал по памяти. Непременно сделайте.

Я буду в Париже с 20/XII по 13/I.

---

*) Д.С. Святополк-Мирским мы встретились в Париже у Ремизова. Повидимому это было в конце 1925 г.

15 Torrington Square
London W.C.I.
23.1.26

Сейчас получили высланный
Вами Благонамеренный

Милый Князь,

Благонамеренного я не получал, но купил еще в Париже, читал, и содержание оного в общем одобрил. Из рассказов Цебрикову Воду я знаю и ценю. Хухриков очень хорош тоже, третий рассказ значительно слабее.

Если бы я был Вы я бы пристал к Марине Цветаевой с ножом к горлу, чтобы она дала для Благонамеренного большую Поэму Горы. Имейте в виду, что лучше ее у нас сейчас поэта нет, хотя Пастернак пожалуй и равен ей.

Если еще не поздно не высылайте мне денег, а пошлите на имя моей сестры: Madame Sophie Pokhitonoff, 214 rue de Bécon, Courbevoie (Seine).

Если Вы меня не убьете за это я для Вас статьи о Петерб. периоде не напишу, а напишу другую Об обязанностях Критика (и гражданина, и человека и т. д.).

Верно ли что Вы правнук кн. А.А. Шаховского, автора Липецких вод и т. д. ? *).

Не одобряю я в Благонамеренном: Вашу рецензию о Бунине: нельзя так говорить о Толстом и нельзя ставить Бунина рядом с Толстым. Это Дудергоф и Эльбрус. И вообще некоторый дух просвещенного консерватизма (Бунин - Ходасевич - Алданов) писатели почтенные но импотентные. Ориентируйтесь более определенно на творческую левую часть « зарубежной литературы » — Цветаева, Ремизов, положим вот и обчелся.

Умоляю Вас не приглашайте Бицилли.

А что очень хорошо это что Вы хвалите Волю России и сами там печатаете.

До свидания, надеюсь все-таки когда-нибудь — отчего Вы не приехали на неделю раньше?

Ваш *Д.С. Мирский*

---

*) Этот слух не был основательным. В ту эпоху мой прадед, Иван Леонтиевич, был генералом, командиром корпуса егерей при Бородине.

15 Torrington Square
London W.C.I.

4.2.26

Милый Князь,

прилагаю при сем статейку в форме диалога о К о н с е р в а т и з м е. Надеюсь она для Вас не слишком не-благонамеренная. Я с т р а ш н о занят, и правда не успею ничего больше для Вас сделать до апреля, по крайней мере. Мне надо дописать огромную книгу к 15 марта. Остается еще около 12-15 листов. Кроме того текущая университетская работа, так что уж простите. Надеюсь, что это застанет Вас в Париже.

Всего хорошего, и надеюсь все-таки когда-нибудь до свидания. Следующий раз буду в Париже с 25/III по 20/IV.

Д.С. Мирский

« БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ »
журнал
Русской Литературной
Культуры

Bruxelles, le 21 février 1926
527, Avenue Louise, 527

Дорогой Князь,

спасибо за прекрасный диалог. Он удивительно сжат и — как бы сказать — упорист. Относительно его неблагонамеренности, какие могут быть речи ! Наоборот, он очень благонамеренный, в настоящем хорошем смысле. 2-ой № выйдет несколько более определенным. Вся беда в том, что нет « сил »... Но все же кой что вытанцовывается. Марина Цветаева дает большую статью, (на днях пришлет) кажется

вполне революционного характера. Кроме Ремизова, Ефрона и Еленева будет прекрасная повесть автора совершенно неизвестного — Соболева (священника, недавно посвященного). Повесть эта явится несомненно гвоздем молодой эмигрантской беллетристики... Вообще любопытный и интересный характер принимает Благонамеренный: например революционное настроение и церковная установка (Цебриков теперь дьякон — он дает тоже « революционную » статью). Думаю, Савицкий тоже будет участвовать...

Читали ли Вы статью « Загадка Благонамеренности » в « За Свободу »? На полулисте газетном Шевченко « тонко » анализировал есть ли связь между мною и Ященком, знаете тем, берлинским...

Вообще если обстоятельства будут благоприятствовать (а Вы — помогать) то можно будет пустить свежий литературный ручеек. О помощи, я не только невзначай: пришлите, князь, рецензий; право слово пришлите. Если бы не были действительно необходимы, не просил бы, зная циклы Ваши.

Крепко жму Вашу руку. Еще раз спасибо за диалог.

Шаховской

Об американской книге Вашей я просил написать рецензию Диксона *). (И она уже написана).

---

*) С. Влад. Диксон, талантливый того времени молодой, вскоре умерший поэт, американец по отцу и русский по матери.

University of London
King's College

15 Torrington Sq. W.C.I.
School of Slavonic Studies,
Malet Street, W.C.I.
Telephone : Museum 9738
25.2.26

Милый Князь,

рад что Вы одобрили мой диалог. М.Ц. читала мне часть своей статьи — очень хорошо.

Рецензий честное слово не могу прислать: нет времени. Я был в Париже по делам, очень жалко что как раз разъехались.

Был бы очень благодарен если бы Вы смогли выслать причитающийся мне гонорар моей сестре Madame Sophie Pokhitonoff, 214, rue de Bécon, Courbevoie (Seine). Был бы благодарен, если бы это можно было сделать в скорости.

Соболев меня очень интересует.

В добрый час.

Ваш *Д.С. Мирский*

15 Torrington Sq. W.C.I.
22.3.26

Милый Князь,

благодарю Вас за деньги, которые моя сестра получила. Так как не знал ни имени ни адреса Д. Кнута *), очень прошу Вас или сообщить мне таковые, или сказать ему, что я очень благодарен ему и тронут присылкой его книги. К сожалению о приезде моем в Бельгию, по пути в Париж, не может быть и речи : я сопровождаю Марину Ивановну, следовательно нужны две визы, следователь-

но и т. д. Буду 26-го. 24-го будет вечер современной Русской поэзии. Я буду философствовать, а М.И. будет читать стихи, свои и чужие **).

До свидания

Ваш *Д.С. Мирский*

---

*) Довид Кнут, поэт, сотрудник « Благонамеренного », скончался в Израиле.

**) Об этом выступлении см. отзыв Ходасевича в одном из писем редактору « Благон-го ».

214, rue de Bécon
Courbevoie (Seine)
10.4.26

Милый Князь,

недавно писал Вам, но потом спохватился, что на конверте не написал адреса, потому думаю что письмо до Вас не дошло.

Когда выйдет Благонамеренный № 2 ? если до 1 мая пришлите мне сюда, а деньги во всяком случае моей сестре, как тот раз.

Очень был бы Вам благодарен за 1 или два оттиска моей статьи; прошу потому что знаю, что дали М. Цветаевой, да еще с хвостом моей статьи.

Будете ли Вы в Париже до 1-го мая ?

Ваш *Д.С. Мирский*

214, rue de Bécon
Courbevoie (Seine)
21.4.26

Милый Князь,

благодарю за письмо. С нетерпением жду Благонамеренного. Я уезжаю вероятно несколько позже 1-го, но отъезд мой не стоит в связи с выходом Верст, кот. сумеют выйти и без меня. Выйдут они, наверно, около 15/V. Мы очень надеемся на «общий фронт» с Благонамеренным. Для 3 № Благ. я предполагаю дать статью основанную на докладе читанном мною 5 апреля в Париже — Дыхание Смерти в Предреволюционной Литературе. Согласны ли Вы? Пет. Периода я писать не предполагаю. Версты не будут евразийским органом, несмотря на участие нескольких Евразийцев (к числу коих я себя не причисляю, хотя отчасти сочувствую) *). Что касается до Евразийского номера Благонамеренного, я не особенно буду Вас поддерживать **). Евразийство сейчас переживает острый кризис, и возможно его расслоение на «правое» и «левое» (Савицкий — и Сувчинский). Савицкого я не особенно ценю, кроме того он географ и статистик больше чем что другое (впрочем он прелестный человек). Сувчинский был бы для Вас приобретением, но он пишет очень туго и трудно.

Я, кажется, разошелся с Современными Записками, зато буду писать для Воли России. Надеюсь, что Вы не считаете Версты конкурентом — места много для всех, и в частности моей энергии Версты удовлетворять не будут. То же наверно знаю о Ремизове и о М. Цветаевой. Я

считаю что Вы делаете большую ошибку что не берете больше ее стихов.

Всего доброго. Ваш *Д.С. Мирский*

---

*) Тут проглядывает близкое мне — и тогда — чувство свободы от всяких социальных связей и общественных « течений ».

« БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ »
Журнал
Русской Литературной
Культуры

Bruxelles, le 23 avril 1926
527, Avenue Louise, 527

Дорогой Князь,

Жду от Вас статью о которой Вы пишете.

Было бы очень интересно услышать Ваше словечко о второй книге Благ-го. (Интересно, какое впечатление она произвела, — вернее производит — в Париже !).

Вы не совсем меня поняли в том месте моего прошлого письма, где я говорил об « евразийстве » Благон-го. Здесь явные кавычки. Я не евразиец, хотя может быть только потому, что, вообще, лишен « нормального » чувства социальности (Литература, — пока, « досадное исключение » !), без которого (без интереса к которому) нет «Культуры ».

Евразийцам же всемерно сочувствую, рад, что они уже начинают почковаться (признаки жизни). Боюсь только одного : их церковной политики, их любви к Церкви. Держусь (и крепко) того мнения, что Церковь, всегда — пустынник, а государствен-

ная власть, всегда медведь. При каких угодно синтезах — добра нет. (В Париже советовал Сувчинскому провозгласить реальное гонение на Церковь, Был бы беспримерный в истории случай « самогонения », разумного православного гонения на Церковь. Была бы попытка последнего, неиспытанного еще нигде, подхода к разрешению « церковно-государственной » проблемы).

Крепко жму руку, буду ждать словечка

Шаховской

---

*) Суть этого парадоксального заострения мысли была у меня в установлении узкого пути евангельского для Церкви в верующем государстве: благожелательного — на Церковь — « гонения » в помощь чистоте веры.

214, rue de Bécon
Courbevoie (Seine)
30.4.26

Милый Князь,

очень благодарю Вас за Ваше доброе письмо. Очень жалею, что опять Вас не увижу — остаюсь до 9-го мая. Хочу приехать к Вам в Бельгию на несколько дней в начале июля. Могли ли бы Вы мне устроить визу?

№ 2 получил. Москва Соболева действительно очень хороша; законченная это вещь или будет продолжение? Надеюсь на последнее, т. к. именно законченности нет.

Пока досвидания

Ваш *Д.С. Мирский*

Institut of Historical Research
Mont St. London W.C.I.
214, rue de Bécon, Courbevoie, Seine
7.5.26

Милый Князь,

очень благодарю Вас за сертификат о благонамеренности *). В Бельгию приеду во всяком случае когда Вы там будете, — и следовательно неизвестно когда т. е. в зависимости от Ваших передвижений. Удобнее всего было бы в самом начале июля (juillet), между Лондоном и Парижем, но и позже в июле, или августе, тоже возможно, а м. б. даже и раньше в июне, из Лондона, если забастовка прекратится.

Статья Осоргина не особенно возмутительная. Только бы она не помешала Бл-му материально.

В воскресение еду в Лондон — доеду ли не знаю — обещают довезти.

Вчера после долгого перерыва видел Мочульского.

До свидания, надеюсь, наконец.

Ваш *Д.С. Мирский*

---

*) Очевидно это было письмо мое бельгийскому Консулу в Лондоне, просящее дать визу Святополк-Мирскому. Все мы тогда ездили по Нансеновскому паспорту, несерьезной бумажной тряпочке. И вопрос « получить визу » стоял всегда пред нашими путешествиями. Какая-то была беззащитность гражданская у эмиграции русской. М.б. устав от нее энергическая натура Д.П. Святополк-Мирского и метнулась « на родину », где этот талантливый человек и нашел свое мученичество.

17 Gower St. W.C.I.
19.5.26

Милый Князь,

статью переписываю и надеюсь выслать завтра или послезавтра. Был у Бельгийского консула и он мне обещал дать визу, хотя под влиянием процесса английских шпионов в Париже, намекнул уж не английский ли шпион и я. Таким образом, если Вы в это время не будете отсутствовать, я собираюсь в Бельгии быть от 1 до 8 июля, в том числе четыре дня в Брюсселе, и по одному дню в Брюгге, в Генте и в Антверпене.

Если же Вас в это время не будет устроим иначе.

Ваш *Д.С. Мирский*

17 Gower St. W.C.I.
5.6.26

Милый Князь,

надеюсь что Вы получили мою статью и что Благ. процветает и не собирается кончаться, что было бы трагично. В Бельгию я надеюсь приехать около 25-го июня, но напишите точно когда Вы будете там и когда нет, т. к. я еще окончательно не знаю когда буду свободен.

Всего хорошего, до свидания

Д.С. Мирский

17 Gower St. W.C.I.
11.6.26

Милый Князь,

из-за бывшей у нас забастовки семестр продлили до 14-го июля. Поэтому мне будет неудобно уехать в предположенный срок. Будете ли Вы в Бельгии 14-го - 21-го июля? Если да, я приеду в это время. Если нет, мне трудно будет найти столько времени сколько хотелось бы раньше 14-го а до сентября откладывать приезд не хотелось бы. Напишите поскорее.

Ваше пессимистичное письмо по существу верно *).

Ваш *Д.С. Мирский*

---

*) Не помню, что я ему писал, копии не сохранилось. Начало июня 1926 г. это уже было время окончания моего внутреннего переворота, вернее процесса, когда я уже вставал на путь монашества. М. б. « пессимизм » которой увидел в моем письме Св. Мирский был просто выражением моей усталости от « дел мира сего ». Стоит отметить, что Св. Мирский разделил это мое чувство. Но его этот « человеческий максимализм » повел не на Афон, а через некоторое время, — в Москву, а потом в лагеря в Сибирь в мученичество, в которое уходили в России люди независимой мысли.

17 июня 1926

Милый Князь,

освобождаюсь 7-го и хочу приехать в Брюгге 8-го, но если Сувч. прикажет то поеду сначала в Париж, а в Бельгию тогда уж 10-11-го июля. Вы плохой ответчик на письма *).

Влагаемую записку прошу передать Сувчинскому.

Ваш *Д.С. Мирский*

*) Он не знал, что я уже окончил « дела мира сего » и начал готовиться к принятию пострига на Афоне.

А. М. РЕМИЗОВ

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1877-1957).
Известный писатель.

18.8.25
Paris

Дорогой Димитрий Алексеевич

Посылаю № 1 « Рос. в пис. » — « Купчая ». Прочитав, вы еще больше убедитесь в необходимости завести в журнале такой уголок, где бы Россию поминали, вспоминая, по русским словам. Это нужно особенно для попавших сюда русских.

Для следующих №№ журнала приготовлю: 2) Петровский указ, 2.10.1710; 3) Сговорная запись Гагариных, 7. 8. 1707; 4) Царская жалованная грамота лученину Макарью Григорьевичу Чирикову, 1669 г. *).

А там, даст Бог, кто-нибудь откликнется и принесет для разбора чего-нибудь из старины нашей московской.

*) Хорошо бы с Чириковыми снестись — все-таки следует спросить разрешенiе, а главное, снять наклейки из старинной бумаги и их разобрать.

Серафима Павловна вам кланяется.

Когда будет напечатано, прошу 2 экз. № и если можно несколько оттисков.

Гонорар за это попросил бы, если можно, 150 фр. 50 — за предисловие 100 за разбор.

(Если деньги сейчас вздумаете послать, то положите в конверт просто).

Вас будет просить о стихах для сборника Кобя-

ков. Этот сборник он делает на свои деньги, от своего тяжкого заработка, хочется ему хоть одну книжку листа в 2а. Главное будет молодых писателей две прозы — Цебрикова и Сосинского.

А у остальных, — это будет большое испытание — у китов он попросит 1 стр.

Представляете себе, 2 года привыкшие писать по листам, и задача : 1 стр. !

Грамота Цебрикову разрисована, придет кн. Мирский, подпишет.

Алексей Ремизов

Вчера наконец состоялось возведение Сувчинского в кав. и полпреды Евразии. Кн. Мирский принес Royal Galliac и возведенного по обычаю полили для роста и плодотворения.

18.8.25
Paris

Дорогой Димитрий Алексеевич,

только что послал вам заказ. пис. рукопись « Рос. в пис. » — « Купчая » и забыл отметить на полях для печати на стр. 3.4.5 пожалуйста прибавьте к моему

« отчеркнутое самим
отступя 10 знаков
петитом ».

Алексей Ремизов

ТЩАТЕЛЬНО
СОХРАНЯЯ орфографию
при наборе : как написано, так и набирать !

4.11.25
Paris

Дорогой Димитрий Алексеевич

Не возьмете ли несколько моих Литературных снов: Вячеслав Иванов 8.000 б. по нов/правопис.

Сологуб

Савинков газетных строк

Рерих 250

З.А. Венгеров

Сны никому не обидные, снившиеся мне в разные годы моей жизни и очень характерные для снившихся.

От Серафимы Павловны поклон.

4.5.26
Paris

120bis av. Mozart
5 Villa Flore

Христос Воскресе!

Дорогой Димитрий Алексеевич,

прошу вас, пошлите *№ 2* Благонамеренного Маргарите Васильевне Сабашниковой (Волошиной)
Frau M. Woloschin
Ameisenbergstr. 51
Stuttgart (Allemagne)

поздравляю всех!

Серафима Павловна христосуется.

20-е авг. 1925 г.

Дорогой Алексей Михайлович,

Получил Купчую и благодарю Вас за нее. Она очень хороша. И « о Полку Игореве » — хорошо (как раз для первого номера).

Вестник 1-го декабря выйдет.

Вряд ли сможем гонорар за рукописи рассылать раньше начала набора, — когда весь матерьял собран воедино будет — под эгидою преуспевания « журнал — дальнейшей » сметы. (Сторона финансовая не от меня зависит, как знаете. Завись от меня — было бы проще)...

20.11.25
Paris

Дорогой Димитрий Алексеевич

не отвечал вам : оттого что захворал, но теперь мне гораздо легче и верю, к началу декабря поправлюсь.

Для № Благонам. пришлю или о Гагариных или « Палея » — Серафиме Павловне принесли лист *58 и 58* об. из толковой Палеи — это Исход, гл. 25-30 (сокращено) и Толкъ о Тельце.

Может быть, после запева — Слово о полку Игореве, очень было бы уместно сказать и иллюстрировать о таком русском Ките, как Палея.

Как только оправлюсь пойду к одному abbé у которого Палея есть. Затем надо сверять текст со славянской Библией.

Мне очень хочется, чтобы « Благонам. » жил, а я бы из № в № рассказывал о России.

Мне писал Юрий Владимирович *), прилагаю ему письмо. О приезде в Брюссель: пишу ему о теме, обсудите вместе и скажите мне.

Хочу вас попросить, как бы это узнать. Еще летом по указанию Сухомлина послал для Flambeau Oscar Grosjean'у переводы на франц. яз. и никакого нету ответу. Пройдет ли что или все отвергнуто и автобиография Гафиза и портрет.

Серафима Павловна Вам кланяется

Алексей Ремизов

Пошлите стихи.

---

*) Ю. Цебриков.

14.5.26
Paris

Дорогой Дмитрий Алексеевич

Только что поднялась Серафима Павлов. опять захворала на Пасхальной неделе и большую перенесла боль. Но через три дня у нас была Пасха.

Прошу Вас, *пришлите мне* 3 оттиска *Страсти Богородицы.*

м. б. из бракованных экземпляров можно вырвать? У меня лежат две рукописи разных годов. Жду (переписываюсь) еще Смольный рынок Диксона, который можно было бы соединить с тем.

Серафима Павловна кланяется вам.

Поклоны *А. Ремизов*

120bis av. Mozart
5 Villa Flore. Paris XVIe

21.5.26

Дорогой Дмитрий Алексеевич!

Скажите мне, можете вы приютить в № 3 Благонамерен. совсем небольшое 1 1/2 стр. мелко письмо вам («ничего не поделаешь!») где я рассказывал о постигших меня издательских неудачах Шакал, Петушок, Пруд и привожу Предисловие к 3 изд. «Пруда» — к-рый никогда не выйдет или не дождусь. В предисловии — о своих ошибках.

Кланяется Серафима Павловна

27.5.26

ОТТИСКИ
если нельзя, прошу № 2 — 2 экз.

Дорогой Димитрий Алексеевич,

1) «Версты» когда-нибудь выйдут. (Мало веры у меня, что будет продолжение их), Хряснутся на 1-ой кн.

2) Dixon'а пришлю на днях. И вот хорошо бы в № 3 его два рассказа и напечатать.

3) Не пожелаете ли в № 3 несколько небольших расск. из книги «Страды мира». Всем, кажется, это нравится.

4) Предисловие это к «Пруду» (к-ый никогда не выйдет) в отд. библиографии. Только форма в виде письма к вам, за которым о «Пруде» и «стиле».

Серафима Павловна кланяется.

Поклоны *Алексей Ремизов*

1.6.26
Paris

Дорогой Димитрий Алексеевич,

Я опять захворал этим дурацким « Солнечным сплетением » потому вам и о ПРУДЕ не присылаю и Диксона.

Легчает, но это все понемногу.

Если нет оттисков, прошу какие-нибудь бракованные экземпляры.

Попомните, очень мне нужно.

Серафима Павловна кланяется

Поклоны *А. Ремизов*

Пойдет ли в № 3 « Рос. в пис. » о Гагариных ?

17.6.26
Paris

Дорогой Димитрий Алексеевич,

1) Библиографию пишу и к концу месяца она у вас будет.

2) в Христианию Дьяконову *больше не надо посылать.* Он переехал в Россию. И адрес его другой. Я напишу вам, когда выйдет книга. Посланные экз. № 1 и № 2 он взял с собой.

3) « Версты » выйдут. (№ 1). Князья настаивают, чтобы теперь, хотя теперь и книгу никто не будет читать по такой жаре. В Париже сейчас прямо нагишом ходят, такое вдруг пекло.

4) П.П. Сувчинский вам расскажет.

Всем поклон.

От Серафимы Павловны — Вам

Алексей Ремизов

3.6.26
Paris

Дорогой Дмитрий Алексеевич
спасибо, оттиски получил.

Два из них полные : стр. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 а один без 57-ой, если найдется эта страница, пришлите. И еще прошу : из разоренной книги дайте мне *« библиографию »*.

Мне показалось по одному из Ваших писем, что у Вас есть место и в № 3. Я хорошо помню о № 4 для которого подготовлю из СТРАЖ МИРА для № 3. Рос. в пис. о Гагариных ? стало быть и пришлю библиографию небольшую. Я собираю СЛУЧАЙН. надписи на старых книгах — это для « Р.в.п. » *наклейки* на грамоте Чирикову так и не удалось, верю, что осенью : в грамоте это самое любопытное. Копия самой грамоты это-то а если соединить с тем, что у меня есть — есть. Жалею, что не сделал тогда, все бы вернул и грамоту и листки до последнего.

Хочу попросить вас : может, возможно было бы в « Благон. » среди объявлений на желт. бумаге кнб приткнуть о моей книге, которая к тому времени выйдет. Вот какое дело : нашелся самоотверженный человек (русский) не политик, и он согласился издать мою « Взвихрен. Русь » всю — 22 листа (а это стоит больше 11.000 фр.). Для изд. книги дал название издательству ТАИР (это имена владетел). Больше ничего не будет издавать. 1050 экз. из них 50 мне для раздачи, а 1000 в продажу. Книга — 30 фр. Боюсь, что не покроет и расходы. Книга уже в наборе. Все я буду делать. Вот я и хочу попросить, т. к. это дело совсем не коммерческ., а ТОЛЬКО РУССКОЕ об этом объявлении.

Алексей Ремизов
ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ
рассказы из революции
1917-1921
изд. ТАИР
Париж 1926

Если можно конечно.

Поклоны —

Сегодня первый день, как я сижу все-таки по-человечески.

Алексей Ремизов

К.В. МОЧУЛЬСКИЙ

МОЧУЛЬСКИЙ. Константин Васильевич (1892-1948)

Литературовед и публицист. Автор ряда книг о Влад. Соловьеве, А. Белом, Мейерхольде, Достоевском и др.

Милый князь,

Ваш Аристарх прочел Ваши стихи с удовольствием; где мог — поставил, где мнил — отставил запятые. Новые стихи несравненно лучше прежних. Но есть недосмотры ритмические и стилистические, некоторые досадные и легко устранимые.

Приходите завтра в 8 ч. вечера. Буду дома от 8-9. Принесите с собой стихи. Почитаем вместе.

Рад был с Вами познакомиться.

Ваш *К. Мочульский*

(Готовилась книга « Песни без слов », Париж, 1924)

Рецензия К.В. Мочульского в парижском литературном еженедельнике « Звено », 1924 г.

Кн. Д.А. Шаховской. Песни без слов.
Издательство русских писателей в Бельгии.
Брюссель, 1924.

Еще год тому назад (« Стихи », Париж, 1923 г.), кн. Шаховской был робким учеником : не справлялся с синтаксисом, не владел техникой. За год он стал поэтом : его новые стихи далеки от совершенства — но это настоящие стихи. Без признаков « построения », без запоминающихся образов, без определенного эмоционального содержания — они все-же реальны, — как струи дыма, как полосы тумана. Будто во сне слышится медленный приглушенный голос, нет ни земли, ни воздуха; колеблется, вздымается светлый сумрак; не слова, не песни, — что-то еще невоплощенное : « небесное дрожанье ».

« лежат слова, как звезды над дорогой ».

Заглавие неудачное обманывает. « Песни без

слов » — не романсы, не Верлен, не « поэзия » — есть музыка ». В них усилие рассказать, объяснить : в них — радость, доверчивая и безпомощная. Каждое стихотворение — неудача неизбежная. Все равно, « того » словами не скажешь. Все равно : « нет новых слов, чтоб высказать родней свои слова ».

Но у слушателя ясное ощущение, что за словами — ненужными и часто невнятными — лежит что-то иное, и многие выражения, с виду нескладные и грамматически сомнительные, кажутся все же поэтически-значащими. В первом сборнике чувствовалось подражание Фету; во втором — родственность молодому Блоку. Мелодия — простая и тихая длится, не обрываясь с концом стихотворения.

Когда тревога сокровенней,
Благословенней к тайнам путь...
Не тронь весну земли весенней,
Воспоминание забудь.

Волнистые, зыблемые формы мерцают неуловимо. Облака ли это, камни или человеческие лица ? Пейзаж без природы, лирика без любви, ожидание. Поэт передает нам томление « своего » ожидания.

К.В.

ПАМЯТИ
ПУШКИНА

(125 лѣтъ со дня рожденія)

1.

Профессоръ ГРЕГУАРЪ — *Слово о Пушкинѣ*
Редакторъ журнала «Flambeau»

Ив. НАЖИВИНЪ — *На рѣкахъ Вавилонскихъ.*

Кн. Д. А. ШАХОВСКОЙ — *Мысли о Пушкинѣ.*

Леонидъ ЧАЦКІЙ — *Лицейская треуголка.*

Юрій ЦЕБРИКОВЪ — *Русская отсебятина и плащъ Донъ - Жуана*

Донъ-АМИНАДО — *Памфлеты Пушкина.*

2.

К. А. БЕКАРЮКОВА
Мих. ГАРОВЪ
Романсы на слова Пушкина.

Аккомпанируетъ г. Андр. ИЛЬЯШЕНКО.

Предсѣдатель:
гр. М. М. ПЕРОВСКІЙ - ПЕТРОВО - СОЛОВОВО

Сезонъ 1924 г.

Первое публичное собранiе

„ЕДИНОРОГА"

Суббота

28-го Iюня

1924 г.

8 ч. 15 мин. вечера

65, Rue de la Concorde, Bruxelles

1 Fr. СБОРЪ СЪ БИЛЕТОВЪ И ПРОГРАММЪ ИДЕТЪ НА ПОКРЫТIЕ ОРГАНИЗАЦIОННЫХЪ РАСХОДОВЪ



24 июня 1924

Дорогой Константин Васильевич,

от невозможно-усиленных занятий, чтобы не пропасть, оскоромился стихами.

Будьте добреньки, посоветуйте мне, куда бы я эти стишки послать мог, и где бы они могли быть приняты, хотя бы с благодарностью, ибо за гонорарами я не гонюсь. Я Вам *крайне* за это буду признателен...

Кровопийца Поволоцкий не шлет все мне мою книгу; я даже не знаю, вышла ли она. Так что видите, почему я Вам ее не присылаю?...

В субботу клуб русских литераторов в Бельгии « Единорог » (Ив. Наживин, Гр. Перовский, В.В. Сухомлин, Леонид Чацкий *), Цебриков-Вилардо, Шполянский (Дон-Аминадо) и Кн. Д.А. Шаховской)

выступает перед русским Брюсселем с вечером посв. памяти Пушкина. Лучше поздно, чем никогда. В официальной части программы доклады — спичи. В неофиц. пение и декламация. Вечер обещает быть очень интересным тем более, что в части речей речь кн. Д.А. Шаховского « Неизвестный Пушкин » необычно оригинальная и умная ! К тому же мы раздобыли самого настоящего, нисколько не мертвого *внука Пушкина.* Этот последний пункт (как и все первые !) дает Брюсселю неоспоримейшее преимущество перед Парижем, в Пушкинских торжествах. Рано, рано подвел я о вечере свои итоги.

Занятия кончаю в конце июля. Предполагаю затем — в самый отдаленный монастырь Бельгии. Программа работы — обширнейшая. Очень надеюсь застать Вас сентябрем в Париже. Перед этим же, надеюсь, смогу проехать чрез Париж. А еще перед этим, провести месяц на Средиземном море.

Ух, насилу кончил ! Природа явно настроена, определенно против любезности, против уступания двери. (Может быть оттого, что в окно она влететь может ?)

(Почему у Вас нет жены ?.. Я бы ей сейчас поцеловал ручку).

Крепко жму Вашу руку. Душевно преданный Вам

Шаховской

---

*) Л.И. Страховский.

7, rue Boucicaut
Paris 15e
30.IX.25

Дорогой Дмитрий Алексеевич !

Завтра 1 октября, и я исполняю свое обещание — посылаю Вам материал для журнала. Он не совсем такой, как я сначала предполагал. Но видно — я слишком понадеялся на свои силы : рассказа у меня не вышло, хотя я очень давно все пишу. Но первый и второй раз порвал, а на третий получилось что-то очень пространное — вроде как бы начало большой повести и мне совсем не нравится. Я очень мучительно пишу беллетристику ! И эту начатую вещь (если только не брошу) закончу через несколько месяцев. Поэтому, простите меня за некоторое изменение наших условий и примите : статейку об Есенине и заметку о М. Мэрри.

Если Вам понадобится — могу прислать еще одну статью такого же объема. Напишите мне, сколько еще остается времени ? М. б. я вдохновлюсь на « иронию » или что-либо другое.

Я все это время торопился — только недавно вернулся из странствий — и за 3 дня пришлось для « Звена », для Вас и еще для кое-кого писать по целым дням. Во всяком случае Вы не пожалуетесь на мою аккуратность.

Ваше письмо с угрозами получил в Англии — но там я был так стеснен церемониалом жури, что писать не мог — даже писем... А все же напрасно вы меня упрекаете в диллетантизме и в « словах милых чувств ». То, что я говорил было искренне — только м. б. лучше было не говорить.

Ну, прощайте, жду ответа

Ваш *К. Мочульский*

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Посылаю Вам свою « Пролетарскую лирику » и думаю, что на большее не раскачаюсь. Мне хотелось бы обе мои заметки подписать К. Мочульский; если Вы найдете это неудобным, тогда под Есениным поставьте « К.М. ».

Отсылаю Вам Вашу поэму, которую, как Вы заметите, я просмотрел тщательно. Мои замечания ограничились чисто формальной стороной: знаки препинания хороши: нужно заново просмотреть метрику: у Вас нередко получается 4-х и 6-ти стопный ямб в 5-ти стопном. Я лично считаю это *очень* ненужным и не должным.

Я подчеркнул тоже синтаксические погрешности и слова, которые нужно заменить.

В общем должен Вас поздравить: техникой стиха Вы овладели вполне. Ритмически сделано легко и даже « элегантно ». Но сейчас, когда выпадает возможность принять туманность замысла и символизм исполнения за техническое неумение — мне становится совершенно ясной наша глубокая душевная противоположность. Но об этом поговорим при встрече — это слишком сложно. В вашей поэме нечто от А. Белого — и ничего от Пушкина.

Вероятно Вы этого хотели.

Ну прощайте, милый друг и напишите, если что-нибудь в моих заметках неясно.

Ваш *К. Мочульский*

Милый друг,

Не сердитесь на меня. Винавер болен и невидим, а Кантор уезжал в Англию, только сегодня я его видел и он немедленно перешлет Вам рукописи. Я

сам подавлен экзаменами и очень плохо себя чувствую.

Как я был бы рад повидать Вас в Париже, хотя бы на один-два дня. Я пробуду здесь во всяком случае до конца июля.

Пишите мне побольше.

Любящий Вас *К.М.*

Милый друг,

Спасибо за письмо, я все это время хворал — не взыщите, что отвечаю с таким опозданием.

Сначала дело: я очень огорчен, что не могу прислать Вам книг для рецензий. Мой единственный источник — Поволоцкий, который дает книгу с бранью и попреками дня на два - на три. Собственно книг у меня нет — я давно ничего не покупаю. Посему разрешите мне возвратить Вам Ваши 5 франков.

С большим нетерпением жду Вашего « Благонамеренного » и заранее питаю к нему симпатию. Мои беллетристические обстоятельства таковы : два рассказа (« Павлик » и « Мария Николаевна ») готовы к печати, но печати для них не предвидится. Читаны они и перечитаны большому количеству лиц и заслужили одобрение. Второй рассказ, которого Вы не знаете, пожалуй, лучше первого : он сделан крепче и легче — это вполне ироническая вещь и кажется достаточно « паутинная » (помните, Ваши слова).

Теперь пишу совсем другое — историю одной очень печальной любви — совсем не « французский » жанр и совсем без легкости. Страшно боюсь, что не выйдет и много работаю. Целый день уроки

и дела — а ночью пишу — зато и чувствую себя нервным и переутомленным страшно.

Кажется, нам не суждено увидеться в Брюсселе на Рождество : я получил письмо от кузена — он собирается на праздники в Париж. Я считаю совершенно необходимым Ваш приезд сюда на Рождество — столько нужно Вам рассказать и прочесть. И вообще повидаться. Приезжайте, милый друг.

Ваше письмо кн. Волконскому исключительно, необыкновенно интересно ! Я от него в полном восторге ! Его обязательно надо напечатать. Автор его — несомненно С. Шевырев, очень уважаемый историк литературы, критик и поэт. Как Вам посчастливилось раскопать его ? Это — прелесть. « Звено » с января будет выходить тетрадкой в 18 страничек. Одобрили ли Вы мой маленький фельетон « Урок русского языка » ?

Марина Цветаева в Париже, но, к « Щипцам » никакого отношения не имеет, ибо Щипцы, конечно, выдумал Ремизов, хотя и отрицает.

Нежно Вас обнимаю.

Ваш *К. Мочульский*

6, Place Leboulay
Versailles

22.12.1924

Дорогой князь,

Я все время хворал, оттого Вам не писал. Теперь переехал в Версаль и как будто лучше стало. Запустил все свои журнальные дела, простите, что стихи не удалось пристроить до сих пор. Сделаю все возможное. Если встречу Мирского — распеку, Поволоцкого тоже.

А Вас поздравляю с успехом вечера и желаю лавров. Расскажите про келью — очень интересно и не совсем понятно. Когда будете в Париже? Буду рад снова Вас увидеть.

Искренно Ваш

К. Мочульский

Милый друг,

Я так надеялся, что Вы, увидев в «Звене» Ваше стихотворение, напишете мне хоть словечко, и вообще думал, что какая-то ниточка между нами протянулась. Ужасно грустно, что ошибся.

На всякий случай сообщаю Вам, что еду в Брюссель 23 декабря и пробуду там до 2 января.

А потом желаю Вам, мой милый князь, много радостей и успехов.

К. Мочульский

Мой брюссельский адрес
23, rue Stephanie. Bruxelles - Laecken
chez Mme Andrews

Какой-то, несомненно глубочайший человек, первым сказал: «Только с человеком близким, можно не говорить...»

Милый друг, Вы, вероятно, не знали этого изречения, когда стали писать мне о каких-то ниточках. Что Вы *в них* ошиблись, в этом не может быть никаких сомнений.

Вы приезжаете во вторник. До субботы я буду

в Лувене. Если Вы на *этой неделе*, никак не можете ко мне приехать, — в субботу, в 2 - 2 1/2 часа, я буду на 23, rue Stephanie.

Д.Ш.

Декабря 1924 г. Брюссель.

23, rue Stephanie
Bruxelles

Милый друг, я действительно изречения не читал, и потому « усумнился ». Но это ничего — еще приятнее будет увидеть Вас. Итак, жду Вас в субботу в 2 1/2 непременно. Тогда и поговорим о Лувене. Очень хотелось бы Вас там навестить, если только это никого не стеснит. Я живу у своего двоюродного брата, сплю, смотрю в окно и насвистываю какие-то легкомысленные песенки. Чудесно вырваться вот так на неделю из обычного круга и очутиться в чужом городе, не имея абсолютно никаких дел и почти никаких желаний.

Милый друг, мне нужно во что-нибудь поверить.

Ваш *К.М.*

6.1.1925

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Сегодня сочельник; я только что вернулся от Ремизовых — ели кутью и зажигали елку. Когда свечи догорели сидели впотьмах при лампаде и говорили о разных зверюшках. А он приносил по очереди разных обезьянок плюшевых и бархатных, чтобы их погладить и приласкать. И им праздник ! А я рассказывал им о Лувене, о Вас и вашем доме и как я боялся привидений...

13 января 2 часа ночи

Милый друг,

поздравляю Вас с русским Новым Годом; только что вернулся с бала в Лютеции, где видел водоворот знакомых и танцовал. Теперь сижу один и думаю о Вас. На письмо мое Вы не ответили, а на это?

Впрочем, будьте совсем свободны по отношению ко мне. Нет такого закона, чтобы все на свете было взаимно. Даже лучше если мои мысли о Вас будут совсем в пространстве.

Много радости!

Ваш *К.М.*

« ...И когда, по убиенной
Прослезился Сам Христос
Пролилася во вселенной
Зелень яркая до слез » *).

---

*) Из моего стихотворения в сборнике « Песни без слов ». А.И.

16.1.25

Мой милый друг,

спасибо за письмо и за стихи. Ваши слова мне запомнились — и часто я думаю о них в суете своей жизни, такой шумной и занятой — и такой внутренне несложной и, повторяю, безнадежной.

У меня тоже не находится слов, чтобы объяснить Вам, почему. Только, может быть, между нами не нужно объяснений — одни утверждения, в которые верить и принимать, какими бы непонятными они не казались.

Расскажите мне о Вашем последнем стихотворении — я люблю, когда Вы сами говорите о своих

стихах. Оно меня поразило новой нотой. Почему говорит она? и кому? Неудачные, вероятно, вопросы, да еще со стороны критика — но я спрашиваю по-детски.

А насчет духа не знаю — думаю, что томится во мне именно дух, а не душа: душа может быть вполне удовлетворена тем пестрым фейерверком дел, лиц, впечатлений и приключений, который я ей подношу. А дух в пустоте — постукивает, как сердце ночью, когда не спишь.

Ваш *К. Мочульский*

16 янв. 1925

Дорогой мой Константин Васильевич,

Спасибо Вам за Ваши два письма. Прочесть их мне пришлось почти одновременно — проводил свои праздники у «Самовара» *) только что вернулся (вернулся лишь для того чтобы прочесть накопившиеся письма и ответить на них). Завтра же (суббота) опять поеду в Брюссель до понедельника.

Очень рад, что сочельник Вам удался, что танцевать Вы, за свое пребывание в Бельгии, не разучились... но это, пожалуй, все, чему я рад. Не считая Ваших писем.

Чем я больше думаю о Вас, тем мне яснее, т о, что Вам необходимо. Но чем яснее мне необходимое Вам, тем труднее, невозможнее с к а з а т ь об этом.

У Вас очень большая душа, Константин Васильевич, разлитая по телу до ногтей. Но духа мало, даже может быть совсем нет духа. (Нет, — есть, но мало). Лучше, чем сказал об отличии душевности от духовности ап. Павел, я не скажу, а потому, если Вам интересно узнать что-нибудь про себя,

почитайте послания этого человека. (Евангелия сейчас не читайте, это слишком трудно).

Вы счастливее меня. Помните, я Вам говорил, что Вы более чем я христианин. Теперь я понимаю, что сказано это было именно в смысле души. Дух *дается* человеку « не мерою ». Душа же предопределена, как предопределено количество « талантов »... Если Вы поймете свое богатство, Вы безусловно богаче меня, говорю Вам это безо всякого смирения (смирение тут сбоку). Стоит т о л ь к о захотеть.

Обнимаю вас, дорогой Константин Васильевич

Ваш *Шаховской*

Мира благостного милость... **)

---

*) « Самовар » tea-room устроенный моей матерью. А.И.

**) Начало моего стихотворения, часть кот. процитировал Мочульский в письме своем. Этот ответ ему есть попытка довольно косноязычная возвысить ценность духовных, религиозных отношений над « душевными », эмоциональными, недостаточными для человека. Эта тема видна и в других письмах.

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Я Вас ждал с большим нетерпением — я так рад, что Вы приехали ! Я не понимаю Вашего молчания ! Я буду Вас ждать в Воскресенье с 11 часов до 4-х.

Пожалуйста приходите.

На всякий случай : я буду дома во вторник с утра до 3-х — но это слишком далеко.

Ваш К. *Мочульский*

(Февраль 1925)

Милый друг,

Ваше здоровье и Ваш отъезд в деревню — все это очень мне не нравится. В чем дело? Будьте добрым и напишите мне подробно и понятно. Отчего вы переутомлены и почему доктора?

Я, признаться, надеялся скоро Вас видеть, хотя никаких оснований в этой надежде не было. Но на Пасху обязательно — не могу же я все время смотреть только на Вашу карточку, а по временам на один глаз, выглядывающий насмешливо из угла.

Я как-то написал Вам очень сентиментальное письмо — Вы ответили мне шутливыми стихами и я из этого заключил, что мой жанр « грустной нежности » Вам не понравился. Тем более радостно было мне узнать, что Вы одобрили мои « заметки », что они Вам показались хорошими. (Между нами, Вы преувеличиваете насчет гениальности).

Я бы их никогда не напечатал, если бы не Кантор, который вытащил их у меня насильно. Когда они уже были в типографии я несколько раз порывался их оттуда извлечь, и успокоился, только увидя их напечатанными. Сделано, так сделано — уж ничем не поможешь.

Сегодня день моего рождения — мне исполнилось много лет; я рад был получить Ваше ласковое письмо именно в этот день. Я был бы рад еще больше, если бы судьба нас свела поближе, если бы я Вас стал лучше понимать. А сейчас Вы, все же, мне чужой и неясный — но очень притягательный. Быть может было бы целомудренней об этом не говорить — простите меня: я не умею чувствовать в безмолвии и у меня нет скромности — это плохо, сам знаю — остатки буйства, татарщины и мифов (см. Блока). Ну, прощайте и будьте здоровы и радостны. Я хо-

тел бы чтобы у Вас было такое же легкое сердце, как у меня. Я живу радостно почти всегда и почти всегда безпричинно.

Любящий Вас

К. Мочульский

Конкурс не для « фаворитов » — обязательно пишите рассказ и пришлите мне.

Февраль 1926

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Я совершенно не уверен в том, что мое письмо до Вас дойдет, « Hôtel du Panthéon » адрес недостаточный.

« Звено » очень просит Вас пожаловать на беседу в среду. Будут говорит Маклаков и Бунин о Толстом, увидите всех знаменитых людей *).

Я бы очень хотел повидать Вас до Вашего отъезда. Я всегда дома до 12 утра, кроме четверга, напишите, когда придете. Вчера долго ждали Вас у Ремизова, но Вы не пришли.

Итак до среды — непременно.

Ваш *К. Мочульский*

---

*) Я посетил этот литературный вечер « Звена » на парижской большой квартире Винавера, где действительно были все известные тогда в Париже русские литераторы. В. Маклаков читал о Толстом, но доклад его мне показался очень поверхностным. Даже помню, я удивился несерьезности его (и поделился этим впечатлением с кн. Серг. Мих. Волконским, там бывшим). А.И.

Дорогой друг,

Спасибо за письмо и рассказ. Вы хотите моего откровенного мнения о последнем : я его не совсем понимаю. Быть может моя вина — я классик и сознательно ограничиваю себя конкретным. Через символическую манеру прошел — и сейчас она мне чужда. Более того, я готов признать ее ценность, как выражение личного и глубокого душевного опыта, но эстетического значения таких попыток не вижу. Вы скажете, что о некоторых вещах вслух нельзя говорить просто и ясно — я Вам отвечу, что в таком случае я предпочту об этом вслух совсем не говорить. Намек и недоговоренность мне не по душе. Усложненность мне всегда кажется произволом, ибо простота — величайшая трудность — и недостаток ее — неудача или ошибка.

Чем более я вчитываюсь в Ваши письма, тем больше недоумеваю. Откуда у Вас эта сложная, запутанная фразеология, почему Вы с ней не боретесь ? Почему Вы как будто любите Ваше, как Вы выражаетесь « косноязычие ». Символизм необходим, как ступень, но останавливаться на ней нельзя; подлинный мистический опыт никаких символов не знает — ибо он чистейший и полнейший реализм. Двух миров не существует для верующего человека — есть только один мир — в Боге и это просто и реально. Зачем же говорить загадками да еще в стиле германской идеалистической философии ? *) Простите за эту диссертацию — лучше об этих предметах говорить, чем писать. А я крепко надеюсь, что на Пасху Вы сюда приедете. Если нет — тотчас же уберу Вашу карточку с камина — хочу оригинал. Святополк в Англии и я не мог показать ему Ваш рассказ. Я его передал в « Звено ». Гиппиус — ... и ее мнение для Вас не обязательное. Всю

ее статью я воспринял, как явный подкоп под меня: я хвалил Вас и « Костер » (книга Гумилева) паки, она вас обоих выругала. Это просто и неумно.

Я сижу дома с гриппом. Лень невероятная и легкая скука — не та тяжелая, которая угнетает, а совсем невесомая, чуть кисленькая, от которой хочется удрать в кинематограф.

Мои чувства к Вам без изменения, несмотря на различие в мировоззрениях.

Ваш *К. Мочульский*

---

*) Прекрасная, совершенно верная оценка моих литературных опытов, посланных Мочульскому. Что и ему, и мне самому не было тогда видно, — это было разрывом у меня чисто духовного, религиозного опыта (в который я тогда только входил) и неумением его экстериоризовать, им овладеть словесно. (А.И.)

24/3/1925

Г-ну Кантору

Копия К.В. Мочульского

(Шуточное письмо)

Милостивый Государь,

разрешите мне Вам пожаловаться на Константина Васильевича Мочульского. Я, по дружбе, просил его мнения о посланном рассказе « Смерть » (имея в виду конкурс « Звена »). К.В. разбранил мой рассказ, но в том же письме сообщил, что... передал его в « Звено ». Я сейчас же попросил его взять рассказ « Смерть » обратно, что он может, конечно, на правах талантливого сотрудника. Я шлю теперь свой другой рассказ Вам. Простите, что не по уста-

новленной форме, без конвертов, и даже, с самым интимным вступлением.

Примите уверение в моем совершенном к Вам уважении

Кн. Д. Шаховской

26.3.1925

Князю Д.П. Святополк Мирскому,
Лондон

15 Torrington Square
London W.C.I.

Копия

(шуточный ответ Мочульского)

...С Шаховским не знаю что и делать ! Прислал мне рассказ на конкурс « Звена » и просил сообщить свое мнение. Я откровенно написал ему о том что мне в рассказе не понравилось и передал Кантору. Тогда он мне пишет, что раз его вещь мне не понравилась (а я и не писал, что не понравилась !) то нехорошо-де с моей стороны было и отдавать Кантору.

Я рассказа обратно не взял, т. к. он вовсе не плох — и, оценивая присланные на конкурс рассказы, я на его произведении поставил собственноручно, т. е. признал возможным напечатать. Представь себе, что он посылает жалобу Кантору и присылает мне копию ! Меня вызывают в редакцию — очень ругают и грозят побить ! Ну что мне делать или вернее фер то кэ ? Заметь, что все эти обиды терплю я незаслуженно, т. к. Шаховского люблю больше, чем следовало бы, и всегда мои письма к нему бывали нежнее чем *его* ко мне.

Ты видел у меня его карточку на столе ? Боже, как тяжело жить на свете, где так трудно найти

родственную и чуткую душу. Я решил ему не отвечать, пока ты мне не посоветуешь. Но рассказ его, конечно, теперь придется с конкурса взять, раз он жалобщик такой.

Ну как ты поживаешь, когда приедешь в Париж... (тут пошли дела семейные)

Твой К. *Мочульский*

27/3/1925

Кн. Святополк Мирскому
Лондон

(Шуточное письмо Мочульскому)

Глубокоуважаемый князь,

считая мнение Ваше гораздо более ценным мнения совокупности читателей любой русской газеты, решаюсь именно Вам послать свое « письмо в редакцию », в опровержение строк меня порочащих, принадлежащих перу такого уравновешенного, но безжалостного человека, как К.В. Мочульский.

Хотя я человек, вообще, средний (чем гордиться только позволительно), однако никак (ни в коей мере) не похож на монстра, воплотителя кричащей человеческой серединности, глубоко по-моему отрицательного, не способного ни к простоте, ни к непосредственному приятию добра, каким старается меня выставить Мочульский.

Примите уверение в моем совершенном к Вам уважении.

Кн. Д. Шаховской

11-го апреля (après-midi) приезжаю в Париж и остановлюсь на rue Beaune.

Прошу мне задержать комнату где-нибудь около Вашей. Надеюсь, Вы будете в это время в отсутствии.

Кн. Д.А. Шаховской

Лувен, 3 апреля н. ст. 1925 года.

Шутить и век шутить — как Вас на это станет!

Вы шутите, а я действительно буду отсутствовать от 8 до 18 апреля, уезжаю с детьми в Montainville.

Но я абсолютно не желаю примириться с тем, что Вас не увижу в Париже. Поэтому, милый друг, напишите мне немедленно на какой срок Вы приезжаете. Если Вы должны уехать до 18, то настоятельно Вас прошу приехать ко мне в Montainville. Я буду там один с детьми и гувернанткой. Вы никому не помешаете, а мне доставите огромную радость. За Вами ответный визит после моего посещения Лувена!

Ехать надо с gare des Invalides по направлению в Dreux до ст. Plaisir-Grignon, там пересесть на маленький поезд до ст. Mareil-sur-Lauldru, а там я уже буду Вас встречать. Напишите или телеграфируйте день и час. *Лучше с утра.* Тогда в любой день и любой час *вполне удобно.* Если Вы этого не сделаете и уедете до 18-го, я решу что Вы злой и жестокий человек и что в Вашем сердце не кровь, а химический бульон.

Когда приедете в Париж, обратитесь прямо к хозяйке моего отеля, Mme Lamotte, я ее уже предупредил и она обещала задержать Вам комнату.

Первый Ваш рассказ « Смерть » по Вашему приказанию из конкурса изъял. Второй, посланный без девиза и конверта с именем, принят к конкурсу. Я сам сочинил девиз... (латинская фраза) первое что пришло в голову. И написал конверт. Теперь официальное все в порядке. Заявляю Вам, что мне он понравился снова (Вы мне его уже читали).

Итак надеюсь до скорого. Было бы нелепо не встретиться ! Хоть Вы и посылаете мне только деловые отписки, все же я по-прежнему люблю Вас.

К. Мочульский

Суббота 17-го. Лето 1925

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Спасибо за письмо; счастливый путешественник. Как я мог написать Вам в Италию, когда Вы мне не дали адреса ? Я Вам завидую и радуюсь за Вас. Я бы променял 4 Англии на одну Италию — но, видно, мне суждены туманы — а Вам лазурные дали.

Очень рад, что Есенин подойдет и очень огорчен, что Миддльтон не подойдет. Хотя я не совсем Вас понял : Вы пишете, что с Шестовым ничего не вышло. Так почему же « неловко » перед ним.

Если Миддльтона напечатать нельзя, пришлите его, дорогой, поскорей : я его пущу в « Звено », а то заедают меня статьи : ничего не придумаю.

У меня для Вас имеется еще критическая статья « О пролетарской поэзии », очень насмешим вас (моих 10 страниц). Напишите поскорее, нужна ли она Вам, потому что мне нужно поскорей знать, как ей распорядиться.

Вот уже 2 недели пишу рассказ о русской даме

Марии Николаевне и ее романе с французом Шарлевиллем. Написал много и все заново переделал. Развязки еще не придумал. Если что-нибудь выйдет — сообщу.

Название « Благонамеренный » я одобряю, хотя все вокруг удивляются. Но это неважно. Это хорошо, что удивляются. Когда же Ваш журнал выполнит свои благие намеренья и выйдет в свет?

Жду Вашей поэмы с нетерпеньем. Возможно, что к Рождеству буду в Брюсселе. Григорий Леонидович благодарит Вас за предложение и постарается.

Прощайте, милый редактор и напишите мне об Италии.

Ваш *К. Мочульский*

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

АДАМОВИЧ Георгий Викторович (1894-1972)

Известный критик и поэт.

Автор четырех сборников стихов: « Облака », 1916; « Чистилище », 1922; « На Западе », 1939; « Единство », 1967; сборника статей « Одиночество и свобода » о русских зарубежных писателях и книги « Комментарии ».

Вел литературный отдел газеты « Последние Новости », редактировал вместе с М. А. Кантором первую антологию русской Зарубежной поэзии « Якорь », 1936. Был также с Кантором редактором литературного журнала « Встречи ». Печатался почти во всех зарубежных крупных журналах: « Современные Записки », « Звено », « Числа », « Круг », « Новый Журнал » и др.

Mon cher prince,

Мне очень жаль, что Вы меня не застали в Париже. Я в Ницце. В Париж вернусь в первых числах сентября.

Посылаю Вам два стихотворения для Вашего Журнала и желаю Вам успехов « на редакторском поприще ».

Искренно Ваш

Г. Адамович

1925.
Nice
28, Bd de Cimiez

Дорогой Дмитрий Алексеевич

Простите за поздний ответ. Я был в Ницце, недавно вернулся. Ваше письмо мне туда не переслали.

Список Ваш довольно полный. Но принцип его составления мне не понятен. Вы пишете — « возраст ». Но Колетт под 60, а Арагону нет 30 ! Если Колетт (да и Жюль Ромэн) « вкрались » по ошибке и если Вы держитесь « среднего » возраста, то к Вашему списку можно прибавить : Blaise Cendrars, Tristan Tzara, Jean Poulhan, Henri Pourrat. Может быть и еще кое-кого. Всех не вспомнишь.

Всего хорошего.

Ваш *Г. Адамович*

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Заметка о Вашем журнале завтра будет в Звене. Простите меня, что я не ответил Вам на Ваше последнее письмо. Мне жаль, что наша философическая переписка оборвалась. Но я Ваше письмо потерял или куда-то дел и не мог поэтому Вам ответить, а потом уж и поздно стало. Не обижайтесь. И если Вы когда-либо вздумаете мне написать « о Боге и смерти », или просто так, о всякой повседневной чуши, Вы доставите мне большую радость.

Искренно Ваш *Г. Адамович*

6/XII/25
36 rue de l'Eglise
Paris 15.

Дорогой Дмитрий Алексеевич

Спасибо за Ваше неожиданное письмо. Оно меня удивило и обрадовало. Но мне жаль, что Вы не договорили в чем мои « вкусовые провалы ». В начале очень ясно — кончили намеками. Никак не могу согласиться с Вами, что « Как же писать иначе ? » (Ваши слова). Думаю и убежден, что надо писать именно иначе. И все можно сказать, говоря иначе, проще, или грубее, если хотите. Но « грубое » только на первый взгляд, небрежный, неверный.

Все это второстепенно — конечно.

Отчего Вы думаете, что я « не-христианин » ? Я Вам ничего по этому поводу не отвечу. Меня интересует только, откуда Ваше утверждение ? Я вообще могу говорить об этих вещах только « вообще », выключая себя. Вы сразу заявляете мне : « Я — верующий христианин » и даже отмежевываетесь сразу же от католиков : « я православный христиа-

нин ». Меня всегда поражает такое заявление. Знаю, что христиански его можно и осудить — оправдать. Так же и скрытность (т. е. мое положение, обратное Вашему). Это или отречение от Христа, пред лицом готовых осмеять, или же желание возвеличить себя, пред другими. Каждый случай индивидуален. Но во всем много значит гордость человека. Я знаю людей, которые верили бы, если бы им не мешало самолюбие : « как я понадеюсь на что-либо, на Кого-либо « кроме себя » ? Ну вот, это на одно Ваше сомнение. А на другое о бесконечности и об Анне Павловой, « c'est de la littérature » — т. е. то, что Вы пишете. Какая это бесконечность внутри и отчего дурная бесконечность временная, простая, реальная ? Не понимаю. Понимаю умом Вашу мысль, но не понимаю Вашего пристрастия к ней. Вы довольно редкое существо. Я понял это еще говоря с Вами как-то в Париже и теперь опять почувствовал это. Не обижайтесь на слово « довольно ». Я пишу его потому, что Вам 20 лет. Если Вы такое же письмо, как Вы мне написали, напишете в 30, я конечно это слово уберу.

Я пишу Вам еще хаотичнее, чем Вы, и притом в начале Вас упрекал за это. Я и себя не оправдываю. В разговоре многое дополняет жест, тон, взгляд. А писать надо честно.

Как Ваш журнал ? Крепко жму Вашу руку. Буду всегда рад получить от Вас письмо.

Ваш *Г. Адамович*

36, rue de l'Eglise, Chez M. Delesbre

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

ИВАНОВ Георгий Владимирович (1894-1958)

Поэт и публицист. Сотрудничал в журнале « Аполлон ». В эмиграции играл ведущую роль в литературных кругах.

18/VIII/1925

Милый Димитрий Алексеевич,

Очень рад был получить Ваше письмо. На открытку я не ответил т. к. на ней не было адреса. Это очень жаль, т. к. будь он я бы непременно навестил Вас в Вашем Ducie, т. к. живу в часе езды от него.

Журнал Ваш от души приветствую, если он действительно выйдет и будет выходить. С удовольствием пришлю, конечно, стихи. Только напишите мне, пожалуйста, сколько их надо. Т. е. можно ли 5-6 (по 2-3 строфы, каждый) или надо меньше. И когда они выйдут в свет, т. к. если не скоро, то те что у меня есть я бы напечатал в другом месте, а вам бы прислал другие, прямо из печки. Напишите. Что же касается до « благородной иронии », то над чем же благородно иронизировать ? Это, действительно, очень трудный отдел, поскольку он становится обязательным ежемесячным отделом. Опыт этого (печальный) был когда-то проделан Аполлоном. — « Пчелы и осы Аполлона ». Все же (или почти все, годные для печати) старые шутки известные мне, я уже напечатал в одной из своих Китайских Теней. Если что-нибудь придумаю то пошлю Вам, конечно.

Названия придумать не могу, попроще что-ни-

будь. Подзаголовок мне не совсем нравится — слишком уже солидно и неприятно звучит на ухо.

Теперь уж Вас верно долго не увидеть в Париже, это жаль. Погуляли бы по какому кладбищу *). Буду ждать Вашего письма и сейчас же пришлю стихи, как только получу ответ. А Ваши стихи как? Я бы очень хотел знать что Вы теперь пишете.

Искренно Ваш *Г. Иванов*

Пишите:
9, rue des Abbesses, Paris (18ème)
потому что с 24-го я буду там и буду там, по крайней мере месяц жить.

---

*) Однажды мы с Г. Ивановым гуляли по Парижу и он показал мне на Монмартре какой-то ресторан, где еду подавали подавальщицы без признаков одежды. Когда, поев, мы оттуда вышли, я, помню, высказал Г. Иванову мысль, что эти подавальщицы были похожи на водоросли. У Г.И. осталось в памяти, что мы гуляли по какому-то кладбищу. М. б. это было поэтическое восприятие одного явления. (А.И.)

8 декабря 1925

Nice (A.M.) 3, Cours Saleya
Chez Tianson

Дорогой Димитрий Алексеевич,

Я получил еще в Париже Вашу флоренцианскую открытку. Спасибо за нее. Отвечаю не сразу, т. к. « путешествовал ». Теперь я собираюсь прожить до весны здесь и буду очень рад если наш альянс восстановится. Что « Благонамеренный » ? Я видел где-то нынешний список сотрудников. Надеюсь, что когда он выйдет, Вы пришлете мне авторскую книжку. Кстати, я сейчас имею много времени для

литературы и с удовольствием (благонамеренно) послужил бы Вам рассказом или статьей, если хотите.

Буду ждать от Вас письма.

Всегда Ваш *Г. Иванов*

24.I.26

Дорогой Димитрий Алексеевич,

Простите что отвечаю Вам не сразу. Я был в Париже два дня и уехал в Chatel-Guyon не захватив Вашего адреса. Только сейчас я его получил.

Посылаю Вам 2 своих стихотворения и 2 Ирины Одоевцевой. Буду очень рад, если они Вам понравятся.

Постараюсь прислать Вам какое-нибудь ироническое « нечто » для 2 №. Только надо ведь, чтобы получилось « элегантно » и я не знаю как взяться. Постараюсь все же.

Заглавие Ваше — скажу откровенно — мне совсем не нравится. Очень не нравится. Это звучало неважно даже тогда, когда не было стилизацией *). Из такого сорта названий можно найти лучше, еще лучше придумать свое. Я бы назвал (тоже краденым) эмигрантский журнал « Русские Ночи ».

Пишите мне, пожалуйста, уже в Париж. Своего адреса я пока не знаю, но с 9, rue des Abbesses мне перешлют.

Искренне преданный Вам

Г. Иванов

---

*) Мне казалось, что название такое возможно именно как стилизация, не без ироничности некоторой. (А.И.)

Милый Дмитрий Алексеевич,

Ир. Одоевцевой и мне до сих пор не уплачено гонорара за стихи — пять долларов за 5 стихотворений.

Будьте милым, распорядитесь, чтобы их мне прислали по адресу
36, rue de l'Eglise. Chez Delestre. Paris XV.

Искренно Ваш

Г. Иванов

Ницца 17/II/1926

Дорогой князь,

Я получил Ваше письмо. И хочу дать Вам дружеский совет : когда журнал (и редактор) так молоды, как в Вашем случае, следует к литературе известного уровня относиться с большим пиететом, оставляя в стороне личные вкусы. Иначе Вы рискуете остаться при одном Цебрикове.

Пишу Вам это в « совершенно частном порядке ». Что касается до моих статей, то я очень занят и, к сожалению, ничего Вам прислать не могу.

Искренно Ваш

Георгий Иванов

20/II/1926.

Дорогой Георгий Владимирович,

Вы обиделись на меня за то, что я Вам не слицемерил по-литераторски, а просто написал — что думаю.

Я никак, никоим образом не могу согласиться с Вами относительно необходимости, для меня, освобождаться от личных вкусов за счет пиетета к

литературе известного уровня. Если бы это было так для самого плохого литератора (даже такого как я), то, простите, литературы не существовало бы. Какое может иметь отношение моя молодость к выбору матерьяла? — Я не вижу этого отношения. Руководствуясь личным вкусом, я могу набрать плохой материал, совершено с Вами согласен (видите, я сам ставлю точки над i), руководясь пиететом, о котором Вы говорите, я наберу может быть прекрасный, но, может быть гораздо более нелепый, чем при « вмешательстве личного вкуса ».

Вы говорите, что я могу остаться « при одном Цебрикове ». Совершенно согласен с Вами — что делать. Лучше идти бескомпромиссно, если есть к этому возможность. Я могу Вам все-таки сказать, что у меня уже есть предложения от литераторов вдвое старших, чем Ирина Одоевцева, если не втрое, которые несомненно могут « дать читателей »... и, несмотря ни на что, я не могу воспользоваться этой литературой... Просто потому, что мне кажется эта литература или мало интересной, или имеющей возможность печататься в « Современных Записках ». Читатель же — величина скользкая, при всех обстоятельствах предпочитающая Лаппо-Данилевскую всему другому. Я не понимаю еще как следует выражения Вашего : « известный уровень литературы ». Поскольку я смог убедиться за свой кратковременный опыт знакомства с писательской средой, — в ней нету единодушия в проведении « известного уровня ». До такой степени нету, что если 50 % литераторов говорят, что X — черен, то другие 50 % говорят, что X — белый. Это грустно, это трагично, но, Вы не сможете со мною не согласиться, что это так.

Я благодарю Вас за откровенность со мною. Как

видите из настоящего письма, я не могу писать иначе.

Летом я, вероятно, буду на юге, недалеко от Ниццы. Если Вы не покинете юг в удобное для нас время, был бы рад Вас встретить!

ВЛ. ДИКСОН

ДИКСОН Владимир Васильевич (1900-1929)

Поэт и прозаик.

1-ая книга стихов « Ступени » — Париж, 1924. 2-ая книга стихов « Листья » — Париж, изд. « Вол », 1927. 3-ья книга « Стихи и проза » — Париж, изд. « Вол », 1930, с предисловием А.М. Ремизова.

17-го авг. 1925.

Дорогой Шаховской,

Посылаю Вам 6 стихотворений — пользуйтесь ими, как хотите; только, если не пригодятся, очень прошу вас их сжечь или разорвать — чтоб никто не видел. Меня очень заинтересовала мысль Вашего журнала. Что вы подразумеваете под « благородной иронией ? » Пруткова ? Путешествие Гулливера ? Если будет время — напишите поподробнее о журнале. А если будете опять в Париже — очень хотел бы вас повидать.

У меня к вам просьба : разрешите перевести на английский что-нибудь из « Песни без слов ». Меня просят дать заметку в один американский журнал « This hartev » о молодых русских поэтах — с переводами. Перевожу я почти дословно — как переводил на английский Пушкина дворянин Панин. Искать рифмы на чужом языке нельзя; но можно сохранить музыку.

Ваш *Диксон*

P.S. Недели через две уезжаю в Лозанну — месяца на два или больше.

15, rue Louis le Grand

Paris (2)

Paris 26.6.26

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Спасибо Вам за книгу; очень мне родные « Поэзия » (стр. 7), « Рождение Молодости » (стр. 16) и, особенно, « Венеция ». Очень жалею, что не выйдет даже третья книга « Благонамеренного »; но, знаете, я рад, что не будут напечатаны мои рассказы. Вполне искренне говорю вам — они мне противны.

Нельзя ли как-нибудь устроить, чтоб « Благонамеренный » не исчез? Ведь одними « Современными Записками » человек сыт быть не может. Нет ли таких людей, бескорыстных и достаточных, которые бы приняли на себя денежную часть журнала? Может быть хоть по отдельным номерам выпускать — не как равномерно периодическое издание, а как неравномерно периодическое?

Если думаете, что могу вам помочь поисками, напишите мне; было бы уж очень нехорошо, если бы пришлось остановиться на двух первых книгах.

Еще раз спасибо за ваши « Предметы ».

Искренне Ваш

Владимир Диксон

27, Avenue de l'Opéra
Paris 1er

Париж, 2.7.26

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Как я рад за вас, что вы будете в Церкви. Вне Христа — гибель; но не мне вам это говорить.

Я сам томлюсь ужасно : но нет еще во мне благодати, чтоб отречься от всего, чем спутан.

И не правы вы, говоря, что уходите от « литературы » по слабости; — по благодати уходите. Не бегство — а исход.

И вы мне теперь сразу стали очень близки, и я вас очень полюбил. Когда вы будете в Подворьи, я к вам приду обязательно, если можно будет.

В наши дни (всегда — но в наши дни особенно — я чувствую) Дух Святой веет над Россией; мы — в веяньи. Только многие, как я, еще не освободились, а вы уже себя преодолели.

Завтра пойду за вас помолиться — чтоб благословил вас Христос многой радостью.

Не забывайте.

Владимир Диксон

Это стихотворение написал вчера — а сегодня пришло ваше письмо. Должно быть, стихотворение — для вас.

Строй свой дом превыше ночи,
В тишине небесных мест,
Где лукавый червь не точит,
Вор не крадет, гниль не ест.

Если глаз ведет к соблазну : —
Вырви глаз, иди слепым : —
Неотлучно, неотвязно
Будешь ангелом храним.

Если грех руками схвачен : —
Лучше руки отсеки : —
Будет поздно горьким плачем
Заливать пожар тоски.

Если ж ночью, при дороге,
Совращенный упадешь : —

Значит мысль была не в Боге,
Значит зрела в сердце ложь.

Но в пыли, во власти ночи,
Где ликует вечный ад : —
Не забудь, что волей Отчей
За тебя Христос распят.

1.7.26.

МАРК АЛДАНОВ

АЛДАНОВ (Ландау) Марк Александрович (1882-1957). Писатель.

Эмигрант с 1919 г. Автор исторических романов и многочисленных эссе. Был близок к « Последним Новостям ». Один из основателей « Нового Журнала » и « Совр. Записок ».

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Простите, что отвечаю с некоторым опозданием : я очень плохо себя чувствовал (и чувствую). — Не придете ли Вы для начала в « Дни » в четверг часов в 6 ? Вы, кроме меня, повидаете тогда и В.Ф. Ходасевича — и мы тогда условимся, когда Вы ко мне придете « в гости ».

Шлю Вам самый сердечный привет.

Преданный Вам

М. Алданов.

25.1.26.

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881-1972) известный писатель.

Покинул Россию в 1922 г. Умер в Париже.

1 окт. 1925

Дорогой Дмитрий Алексеевич, спасибо за память. Если будет у меня что подходящее, охотно пришлю. Пока — не видать. Я провел чудесное лето в Провансе. Дай Бог Вам хорошенько подышать Италией. Если будете в Париже, заходите непременно.

Всего лучшего.

Ваш *Бор. Зайцев*

P.S. Из итальянцев — в Риме, Преццолини — человек исключительный и культурный (89, Via Nazionale). *Очень хороший* итальянец Каффи — это там же, в Europa Orientale.

26 февр.

Дорогой Дмитрий Алексеевич, стихи Ваши хорошие, отправил их неск. дней назад в Ригу (все три стихотв.).

Всего лучшего. Жму руку.

Ваш *Бор. Зайцев.*

26 янв.

Дорогой Д.А., пишу наудачу, на Вашем письме не было адр., а конверт я разорвал — мне Ходасевич *приблизительно* назвал Ваше жительство.

Приходите : или завтра (среда) в 2 - 2 1/2, или в пятницу, субб. — такие же часы. Рад буду повидаться.

Ваш *Бор. Зайцев.*

3 февраля 1926

Дорогой Д.А., в четверг у меня в 5 1/2 заседание Правления Союза Писателей — значит, я непременно должен быть. Приходите в субботу, тоже в 4-5. Очень прошу — известите и Никушу *).

Ваш *Бор. Зайцев*

---

*) Ник. Дм. Набоков, композитор.

М.Л. ГОФМАН

ГОФМАН Модест Людвигович (1887-1959)

Поэт, историк литературы и пушкиновед.

В 1905 г. опубликовал книгу о русских поэтах последнего десятилетия. В 1923 г. выехал в научную командировку в Париж, откуда не вернулся в Советскую Россию. Автор многочисленых статей и изданий о Пушкине. В 1934 г. совместно с Г. Лозинским и К. Мочульским выпустил по-французски историю русской литературы до наших дней. Сотрудничал во многих эмигрантских изданиях : « Современные Записки », « Окно », « На чужой стороне », « Иллюстрированная Россия », « Встречи », « Новый Журнал », « Возрождение ».

Villa des Iles
Juan-les-Pins (A.M.)
30.VIII.1925

Милый Князь,

Вы мне ответили через два месяца, а Вам пишу на другой день. Кто же из нас лучше?

Поздравляю Вас и Ваших будущих читателей и читательниц с Вашим намерением издавать « Благонамеренного » (времена изменились, и надеюсь, никто теперь не скажет: « Могу ли вас себе представить с « Благонамеренным » в руках? ») Всемерно готов способствовать Вашему « Благонамеренному », чем могу, а чем могу — предоставляю решить Вам. Вы мне пишете о количестве страниц, отводимых Вами отделу прозы и статей, но ничего не пишете о том, сколько страниц хотели бы Вы, чтобы я занял, а также — какого рода статьи Вам были бы приятнее всего? Что лучше — материалы (понятно, неизданные) или статьи? по XIX или XX веку?

Мне больше всего хотелось бы дать Вам статьи « Клевета на Боратынского », но могу дать и по Пушкину, и по Киреевскому (его неизданные письма из музея А.Ф. Опишни), и по Жуковскому, и по современности (напр. о парижском клубе молодых поэтов и литераторов). Напишите же мне, что Вас

больше интересует и в каком количестве страниц (это я) интересует.

Я не перестаю всюду говорить, что из всех новых молодых поэтов я признаю поэтами с будущим только князя Шаховского и Галину Кузнецову. Если хотите, пошлю Вам для трехмесячника ее стихи.

Но каким образом Вы издаете журнал и в то же время едете в Италию ? Надолго ?

Крепко жму Вашу руку

Преданный Вам

Мод. Гофман

2 сентября 1925 г.

Дорогой Модест Людвигович,

Боюсь, что не смогу точно обозначить размер статьи. Но все же, приблизительно, вот : пол печатного листа — восемь страниц среднего печатного текста. Еще иначе : не менее пяти страниц и не свыше десяти... Шесть-семь, если хотите.

Сколько места занимает Ваша статья « Клевета на Боратынского » Может быть Вы ее дадите ? Заглавие маняще звучит. (Слова « Боратынский », так как то, — о культурная развращенность ! — заставляет поднимать духовные уши, как и « клевета »...) « Боратынский », конечно, интереснее « клуба молодых поэтов », но и тут Ваше мнение было бы ценно. Право, не знаю, как быть в конце концов. Если бы Вы смогли мне прислать и то и другое — скажу простосердечно — был бы самый лучший исход для Вашего покорного слуги.

Трудно сейчас то, что я не знаю окончательного состава отдела статей. Благонамеренному сразу же надо взять тон снимания шапки перед 19-м веком, но нельзя ведь шапку снять перед ним, если в нем самом находиться. Пока статьи для « Благонам. » интереснее матерьялов. Стихи Галины Кузнецовой пожалуйста пришлите (и адрес ее).

В Италию я еду всего на две-три недели. Говорят, что только через 10 дней получу визу.

Еще, Модест Людвигович, одна вещь : если Вы знаете кого-нибудь, способного принять участие в отделе « благородной иронии » (это может быть или писатель, или читатель, но не фельетонист); пожалуйста, укажите мне на него или ему на меня. Это трудный отдел ненарочитого литературно-критического полусмеха.

216, rue St Jacques
Paris Ve
17.IX.1925

Милый князь,

Простите, что только теперь отвечаю на Ваше письмо — собирался уже уезжать из Juan-les-Pins, потом уезжал, потом приехал, потом бегал по Парижу (искал комнату) и только теперь заболел бронхитом, засел дома и за письменный стол. Завтра же — уверяю Вас, что завтра (ибо бронхит и лихорадка усиливаются, и никуда не придется выходить), сяду за опровержение клеветы на Боратынского и через несколько дней пошлю Вам. А пока что — посылаю вам стихи и адрес Г. Кузнецовой — Галины Николаевны Петровой (5, rue Belidor. Paris XVII). Не зная объема и состава Вашего стихо-

творного отдела, посылаю четыре стихотворения, но, конечно, само собой разумеется и т. д.

Где Вы — в Брюсселе или в Италии?

А как Вам нравятся стихи той же Г. Кузнецовой:

Как кудри черные неутешимых вдов
Деревьев перепутаны побеги —

Всего доброго, светлого и ясного. Возьмите побольше солнца в Италии!

Преданный Вам

Мод. Гофман

17, rue Gay-Lussac
Paris Ve
22.IX.1925

Посылаю Вам давно обещанную мною князю Д.А. Шаховскому статью о Боратынском. Что касается до отдела рецензий, то я не совсем понимаю, что он должен в себе заключать: только лишь рецензии или также и литературный материал (на что намекает название «Старый и новый архив»). Если в нем печатаются неизданные материалы, то я охотно пришлю несколько неизданных писем И.В. Киреевского (касающихся, главным образом, запрещения «Европейца»); что же касается до рецензий, то я могу написать их, но только в том случае, если Вы мне пришлете книги для отзыва, ибо у меня нет новых книг. Есть под рукой законченное наконец «Поэтическое хозяйство Пушкина» В. Ходасевича, но мне не хочется писать об этой книге маленькую рецензию, а большая — очевидно, не подходит к вашему сборнику.

С совершенным уважением

Мод. Гофман

17, rue Gay-Lussac
Paris Ve
7.XII.1925

Милый князь Дмитрий Алексеевич,

Вы очень милы, а я разве не мил? разве не скоро отвечаю на Ваше письмо? (Мне кажется, Вы ждете скорого ответа, а потому и не откладываю письма — не люблю заставлять себя ждать).

Отвечаю Вам по пунктам.

1e. Мне очень грустно и досадно, что Вы не могли прислать мою корректуру « Клеветы », и теперь мне начинает казаться, что там допущена какая-то грубая ошибка, которая с каждым днем растет. А потому — убедительно прошу Вас: пришлите мне корректуру задним числом — не для исправления текста, а для оговорки опечатки, буде есть ошибка.

2e. Посылаю письмо без приложения, без рецензий, хотя и очень люблю писать рецензии, по трем причинам: 1) сегодня и завтра занят, а я из Вашего письма понял, что рецензия должна быть послана в течение двух дней, 2) сейчас под рукой нет ни одной особо выдающейся книжки (а что же писать о случайной) и 3) — и самое главное — я не знаю, о каких книгах у Вас уже есть рецензии и о каких нет — и боюсь, что прислал бы дубликат рецензии, что совсем не весело.

3e. Мои « условия »? Никаких специальных условий у меня нет, и я обыкновенно получаю столько, сколько мне платят, совершенно предварительно не сговариваясь. Вы спрашиваете, как « все » платят — очень разно: лучше всего в Риге и в Берлине (выходит что-то 60-70 сантимов строчка), хуже всего в Париже (в газете 25-35 с. строка, в журнале 15 фр. печатная страница), среднее — в

Праге (от 12 до 15 долларов печатный лист). Если хотите, можете платить мне по 5 франков за строчку или даже за слово, если хотите... Во всяком случае, ни грабить Вас, ни портить Вам издание высоким гонораром я не хочу. Независимо от размеров гонорара (высокий или низкий — вопрос второстепенный), я только очень хотел бы (но не настаиваю и на этом), чтобы он был, по возможности, не выше и не ниже того, что Вы платите другим сотрудникам.

Больше отвечать не на что, а потому продолжаю письмо без пунктов. Писали ли Вы моей Галине Кузнецовой, какого о ней (т. е. конечно об ее стихах) мнения, и какие ее стихотворения думаете напечатать в « Благонамеренном » ?

Я писал Н.А. Пушкину, ответа от него не имею, и это обстоятельство меня несколько тревожит : то ли он не получил письма, то ли он обиделся на мой может быть не совсем осторожный (хотя я и был сдержан) отзыв об его сестре.

А Ваш « Благонамеренный » не входит в столкновение с Вашими университетскими благими намерениями ! ?

Всего доброго и светлого
Преданный Вам

Мод. Гофман

17, rue Gay-Lussac
Paris Ve
14.XII.1925

Милый Князь
Дмитрий Алексеевич,

Получил Ваше письмо в среду — в самый разгар рабочей недели; в среду же пошел в книжный магазин за книгами, в четверг же начал их

читать, в воскресенье писать рецензии; сегодня посылаю две и завтра — две. Ну, разве не милый я? — ведь занят так...

За то, что я такой милый, и Вы должны быть милым и исполнить мою просьбу. Мое предчувствие меня не обмануло: я при переписке статьи пропустил несколько слов, вследствие чего вышло две ошибки — я отнес письмо 1840 года к 1837 и заставил его начать словами, которые находятся в середине письма 1840 года. Ведь меня съедят, если Вы не оговорите исправления. Скажите, как хотите: « по корректурному недосмотру », « по корректурному недосмотру автора », « по недосмотру переписчика статьи », « по ветрености и легкомыслию автора », « по молодости лет сына нашего почтенного автора » и т. д. и т. д. — скажите, как хотите, но выручите меня.

Это просьба серьезная, а вот просьба несерьезная и не моя, а моего сына (на которую не обращайте внимания): он решил, что у Вас, в связи с изданием « Благонамеренного » должна быть обширная корреспонденция, а потому просит у Вас для своей коллекции марок.

Итак — до завтра. Впрочем, завтра пошлю только рецензии, ибо писать письмо некогда.

Всех успехов.

Преданный Вам

Мод. Гофман

Надеюсь, что другие две рецензии не столь легкомысленные (две книги прочел без пропусков от доски до доски, а в двух других читал некоторые страницы).

Ура! написал и третью! Завтра пошлю м. б. еще одну, может быть еще две, а может быть и не

одной (и все же совесть у меня будет спокойна — в очень занятое время написал 3 штуки).

6, rue Carrier-Belleuse
Paris 15
21.2.1926

Милый князь Дмитрий Алексеевич,

Меня очень удивило Ваше письмо — и озадачило. Мы с вами говорили о том, что Вам нужно немедленно выяснить, что именно я Вам дам, а что самый материал я могу переслать Вам через месяц — и вдруг получаю письмо от *16 февраля* с таким началом : — очень прошу Вас прислать мне *сейчас* « хотя бы только » статью Вашу и « архивный букет »... Что значит « сейчас » : сейчас сегодня, сейчас завтра, сейчас сей час, сейчас сию минуту ? Но ведь для того, чтобы послать *сейчас*, нужно, чтобы уже *было* написано, а наш разговор не предполагал такой спешки.

Я напряг все свои силы, всю энергию, *все время* и посылаю сейчас (если это сейчас поздно — буду Вас очень просить как можно скорее вернуть мне приложение к письму) — через 4 дня — « Из архива Жуковского » — материал, кажется, довольно интересный и такого большого размера, какого Вы хотели, а не какого я предполагал. Он был бы еще гораздо интереснее, если бы Вы так — и вдруг не торопили (я дал бы и о Пушкине).

В четыре дня я мог написать одно из двух : или в архив, или в статьи, и рассудил так, что Вам и нужнее, и интереснее архивное, чем статейное (ибо за статьями-то никогда задержки не бывает — пишущих статьи тьма тьмущая), и потому засел за архивное. Так как статьи о психологии творче-

ства Пушкина я мог бы послать не ранее, как еще через 5 дней, а это, судя по Вашему *сейчас,* уже безусловно поздно, то значит и т. д.

Видели ли Вы статьи Айхенвальда с благожелательным отзывом о « Благонамеренном ? » Если у Вас ее нет — пришлю Вам, ибо храню « Руль » специально для Вас. Очень хочется с Вами браниться. За что бы ? — Из множества поводов выбираю Галину Кузнецову. Я на Вас сердит за нее. Да, да, да ! Сердит за то, что Вы ее *напечатали.* Я ее Вам сосватал, ибо по совести очень выделяю ее среди обещающих, а Вы должны были не печатать ее, раз по совести не разделяете моего мнения. И у нее, и даже у меня сложилось представление, что Вы ее напечатали из вежливости, потому что я Вам ее рекомендовал.

Милый редактор, будьте строгим, суровым, неумолимым, жестоким и безжалостным, а не милым. Много бы Вам написал еще, да статья для Вас меня совсем уморила. Ваше мнение о ней ?

Всего доброго. Преданный Вам

М. Гофман

Сын просит кланяться и просит Вас вернуть наклеенные марки.

6, rue Carrier-Belleuse
Paris 15
25.2.1926

Милый Дмитрий Алексеевич,

Ваше письмо очень милое, и я почти жалею, что оно такое милое. Я считал, что Вам статью не пишу и радовался, что могу несколько дней еще лениться, а тут... Впрочем, попытаюсь еще оттянуть

и подожду писать до Вашего письма: 1) я могу Вам прислать ее через десять дней, — стоит ли? не поздно ли? (отвечайте: да, да, поздно, мы уже все наберем), 2) мы с Вами говорили о размерах архивных мелочей, а о размерах первой статьи не говорили: напишите (если не поздно!), сколько приблизительно страниц Вам было бы приятнее всего?

Тороплюсь Вам писать по поводу стихов Жуковского. Возражать я не возражаю, но и не очень (как видите, весьма не категорично) хотел бы, а главное, не советую: разрознять целость того, а главное, главное — самостоятельное, неизданное стихотворение имеет смысл помещать в отдел поэзии (такое и пошлю Вам, если не для этой, то для следующей книжки), а исключенный отрывок из изданной поэмы — стоит ли? Не лучше ли ему разнообразить архивный материал? Впрочем, Ваше самодержавное редакторское дело — как захотите, так и поступайте.

Я рад, что мой материал Вам понравился. Мне тоже (я ожидал худшего).

Преданный Вам

М. Гофман

6, rue Carrier-Belleuse
Paris 15
7.3.1926

Милый Дмитрий Алексеевич,

Мне очень стыдно в этом сознаваться, но что же делать: я ничего, т. е. ничегошеньки не понял в Вашем письме.

Вы ставите мне вопрос: удобно ли по моему мнению совместить статью мою со статьей Марины Цветаевой. А как я могу ответить на этот вопрос, когда не знаю не только того, какого рода статья М. Цветаевой — Вы говорите, что она подкрепляет диалог « О консерватизме » Святополк-Мирского, диалог... также мне неизвестный, но даже и того, почему мы вообще можем быть несовместимы, ибо я ни к какой группе не принадлежу, и « Благонамеренный » независим: живу и не мешаю жить другим.

Сейчас вычитал в Вашем письме (но ведь как трудно вычитать!) слова о « количественных собратиях », и это дает мне смелость перевернуть Ваш вопрос таким образом: не обижусь ли я, если Вы из соображений о количестве, а также, м. б., из сомнений в возможности совместить меня с М. Цветаевой (а почему — ей Богу, не догадываюсь), принуждены отказаться от моей статьи! — И на этот вопрос отвечаю *со всей искренностью и откровенностью*: нет, нисколько не обижусь; даже больше того: Ваше письмо, освободившее меня от писания статьи, весьма польстило лености, к которой я что-то слишком расположен.

Очень жалею, что Вы поместили Жуковского в отдел поэзии, но что же делать! Между прочим, Академия Наук рвет и мечет, что я печатал без ее ведома материалы музея, ей принадлежащего, а я отвечаю ей на это: понимаю, что Вы рвете и мечете, и я на Вашем месте рвал бы и метал бы, а на своем — я печатал, печатаю и буду печатать и совершенно неуязвим и не виноват, в том, что Вы сами себя сечете *).

А на мой вопрос (о составе поэзии и, в частности о Ваших стихах) Вы так и не ответили.

Вот пока и все. Да еще — добрые пожелания Вам и рукопожатия.

Преданный Вам

М. Гофман.

---

*) Формально Академия Наук была права и не могла вести себя иначе. Но Гофман пушкинист, невозвращенец тех дней, был тоже прав, и в данном случае интересно, как он защищал свою правоту. В 50-е годы мы встречались с ним в Париже, он был на смертном одре. Свидание наше было очень теплым. (А.И.)

6, rue Carrier-Belleuse
Paris 15
7.5.1926

Милый Дмитрий Алексеевич,

Теперь Вы имеете все основания обижаться и сердиться на меня за то, что я Вам не ответил тотчас же на Ваше письмо. Молчал я не из злых, неодобрительных и неблагонамеренных чувств, и даже не из лени (хотя позорно и постыдно обленился — взять в руки перо уже труд !), а именно из благонамеренности, и из благонамеренности к « Благонамеренному » : не хотелось писать Вам пустое письмо, не хотелось писать, не разрешив вопроса о моей статье. Дело в том, что как-то, когда-то, когда Вы игнорировали мои письма, я получил письмо от Мельгунова с вопросом, когда же я наконец дам ему обещанную статью и можно ли ее анонсировать. Я ответил, что анонсу буду очень рад, т. к. он меня обязует и заставит выйти из состояния лени, опутавшей меня, и, кроме того, — en attendant — предложил ему маленькую статейку « К психологии творчества Тургенева ». В ответ на это получил пре-

дложение встретиться в « Москве » (не в Москве, а в Париже) во едину от суббот. С тех пор прошло много суббот, а я до сих пор не могу собраться на свидание с ним и разрешить те вопросы, после которых хотел писать Вам. Решил, что больше ждать когда этот лентяй (которого, правда, допекают уроки) соберется в « Москву » — невозможно и неприлично, несовместно с моим письменным достоинством, да и Вы можете обидеться, — а потому и пишу Вам это — поневоле пустое и бессодержательное письмо. Время бежит, и через неделю — 15 мая — уезжаю на юг : играть в рулетку, гореть под солнцем, законно лениться и работать без урочных помех. В связи с этим (т. е. с отъездом из Парижа 15 мая) обращаюсь к Вам с просьбой — но только в том случае, если Вы непосредственно *не связаны* с издательской стороной Вашего « Благонамеренного » : в таком случае, но только в таком (и даже еще лучше так : если материальное положение « Благонамеренного » хорошо) скажите им, что меня прошлый раз обидели, заплатив по 8 1/2 долларов за листок (не как прочим людям), а теперь и совсем не прислали. Если дела « Благонамеренного » плохи, то просите мне не присылать гонорара — (ибо во всяком случае не из-за гонорара же я Вам даю). Пишу же я Вам об этом потому (только потому, повторяю), что — *если* мне будет прислан гонорар (но совсем не обязательно), то я хотел бы получить его до отъезда из Парижа. Кстати, о « Благонамеренном » : с юга я Вам подробно буду писать свои впечатления от второй книжки (на досуге), а пока ничего не скажу, кроме того, что статья Марины Цветаевой об Адамовиче прекрасна, и все нападки на нее безобразны и неосновательны, ответ же Адамовича так мил, что... нет в моем

словаре подходящих слов. Из Ваших стихотворений первые два меня оставили холодным, а одно даже мало понравилось, но третье привело в истинный восторг — оно прекрасно.

Вам о 2-м номере ничего (пока) не пишу, а от Вас жду письма о 3-м : как он складывается, что предполагаете из стихов, из прозы, из статей, из Архива, из библиографии ? Если хотите, могу Вам предложить обстоятельную рецензию на Госиздатского Пушкина под редакцией Томашевского.

Всего доброго.

Преданный Вам

М. Гофман.

6, rue Carrier-Belleuse
Paris 15
10.5.1926

Милый Дмитрий Алексеевич,

Только что послал Вам одно письмо, а сейчас снова пишу. Дело в том, что некий Сергей Савинов, жительствующий в Праге (Ricany u Prahy, 277, Tchécoslovaquie) и состоящий членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, очень хочет поместить свои повести в « Благонамеренном ». Не знаю почему, ко мне обратились с просьбой переслать ее Вам. Делаю это очень охотно, *но* отказываюсь категорически как советовать Вам ее печатание, так и отсоветовать его. Если я посоветую Вам ее печатать — я поступлю недобросовестно в отношении Вас, если же посоветую ее не читать, а прямо переслать автору — поступлю недобросовестно в отношении его. Но вот о чем *очень* прошу Вас : если Вы ее потеряете или выбросите в корзину

— меня съедят (не фигурально, а буквально). Пишите прямо автору (но напишите, милый Дмитрий Алексеевич), ибо это будет тем скорее, что я уезжаю проигрываться.

Рукопись автору, а не в корзину!

Преданный Вам

М. Гофман.

14.XII.1925

Милый князь,

Посылаю Вам еще две рецензии. Если Вы питаете слабость к Дм. Кобякову — выбросьте мою рецензию о нем в свою корзину. Столько написал Вам, что теперь могу просить мою душу на покаяние — по крайней мере на год.

Преданный Вам

Мод. Гофман

Сейчас меня никто не может заставить писать, как же Вам удалось?

2, Boulevard Garibaldi
Paris 15
17.5.26

Милый Дмитрий Алексеевич,

На этот раз я очень, очень виноват перед Вами. Простите меня и за то, что не пишу Вам, и за то, что ничего не посылаю. Дело в том, что вещи мои давно все уложены (как же писать?), я переехал на 3 дня в гостиницу, завтра уезжаю на юг и тогда, надеюсь, образумлюсь.

На этом бы я мог и кончить свое покаянное письмо, если бы еще не два пункта.

1) Я прекрасно понимаю, что послал Вам очень плохую повесть, которую, конечно, нельзя и не следует помещать; послал ее Вам только потому, что *принужден* был это сделать, не отзываясь о ней ни единым одобрительным словом, я не считаю возможным и ругать ее Вам прежде чем Вы сами не прочтете — теперь же ругаю, и все же повторяю — не в ...(неразборчиво — А.И.), а глупому автору.

2) Зачем Вы мне пишете о гонораре, да еще так много, и заставляете меня краснеть, ибо я Вас вызвал на этот разговор. А писал я только *на случай* и только по случаю.

Ради Бога, не оказывайте никакого давления на издателей « Благонамеренного » ! А окажите давление на редактора : пусть он не забывает меня и пишет.

Преданный Вам

М. Гофман

Café-Restaurant du Pont du Lys
Juan-les-Pins (A.M.)
21.5.1926

Милый Дмитрий Алексеевич,

Докладываю Вам, что мы приехали в Juan-les-Pins 19 мая, 20 мая посвятили казино в Монте-Карло (где я сперва выиграл, а потом не только проиграл, но и проигрался), а 21 мая — с утра — устояв против всех соблазнов солнца и лени — принялся за дело *для Вас* (даром, что я всюду должен — плачу Вам первому) : архив почти окончил, хочется еще написать библиографическую заметку (если хотите отзывов — пришлите книги — здесь не достать) и м. б. (если еще не поздно) какую-нибудь маленькую статеечку (из психологии творчества Пушкина — и

потому что ее в два дня не сделаешь, и потому что она обещана Мельгунову). Так что не сердитесь на меня ! Вскрывайте мой конверт, чтобы не повредить марок : пришлите мне их обратно (нарочно для этого пошлю из Монте-Карло и значит франков 500 проиграю). Пошлю *не позже* 25-го.

Жму Вашу руку.

Преданный Вам

М. Гофман

Café-Restaurant du Pont du Lys
Juan-les-Pins (A.M.)
24.5.26

Помилосердствуйте, милый Дмитрий Алексеевич, дайте хоть два дня отдохнуть, сжальтесь над несчастным ленивым литератором, вот уже 5 дней работающим на Вас. Через два дня, ей Богу, напишу какую-нибудь рецензию. Теперь два слова о том, что посылаю.

Если Вам моя статейка покажется слишком insignifiante, или отдел статей уже набран, — без зазрения совести выкиньте из номера. В то время, когда писал ее, очень хотелось написать другую, большую, интересную, революционную статью. История литературы, как наука — но убоялся размера (от 8 до 12 страниц) и еще больше Вашей боязни « учености ». Что скажете ? Что касается до архива, то я не предпосылаю никаких вступительных строк, ибо лучше всего поставить тот же titre с выноской на предыдущую книжку Благонамеренного. Хотел было послать Вам одно неизданное стихотворение Жуковского, но у меня нет в Juan-les-Pins сочинений Жуковского, и я боюсь попасться — а вдруг оно

только кажется мне неизданным, в действительности же вошло в полное собрание сочинений Жуковского.

Если у Вас мало материала для 3-го номера, могу еще послать какие-нибудь архивные мелочи.

Не знаю, удастся ли мне написать рецензию о сочинениях Пушкина под редакцией Томашевского (попытаюсь однако) — я отдал книгу ее собственнику как раз накануне получения Вашего письма. Во всяком случае, поэтому она не будет велика.

Вы нехороший : ничего не пишете мне о предполагаемом содержании третьей книжки, а это мне всегда интересно, и вообще не пишете. А потому — до свидания, ни слова даже не скажу ни о себе, ни о море, ни о размерах моего проигрыша в Монте-Карло.

Преданный Вам

М. Гофман

Марки обратно! Привет от сына (по ассоциации).

Café-Restaurant du Pont du Lys
Juan-les-Pins (A.M.)
1.6.26

Милый Дмитрий Алексеевич,

Сын мой очень благодарит Вас за марки, он в восторге, а я еще не знаю, благодарить ли мне Вас за письмо, ибо в нем заключается мало утешительного (с места же в карьер Вы требуете « ту »), подумаю. Спасибо. Я не знаю, о какой статье Вы говорите — « та », но почему-то думаю, что речь идет не об « Истории литературы, как наука », а о « Психологии творчества Пушкина ». Ведь так ?

Если бы я писал Вам вчера, то ответил бы на

этот вопрос очень кратко : не могу, но сегодня у меня начинают бродить другие мысли. Эту « ту » статью я обещал Мельгунову и не могу не дать ему по тысяче разных причин, из которых достаточно назвать три :

1) Я ему давно обещал и последний раз очень уверенно и положительно,

2) Кроме этой статьи, я обещал ему выслать статью « К психологии творчества Тургенева » — по материалам, опубликованным Мазоном (кстати, не статью, а библиографическую заметку по этому поводу хотите дам Вам — совсем не то, что мной написано уже), и отбил эту тему от Полнера — а между тем, эта статья печатается в « Руле » (так вышло). Согласитесь, что после этого не дать и ту статью — уж совсем неприлично.

3) Мне сейчас (из-за рулетки и из-за того, что из 8 учеников заплатили только 3), нужны до зарезу деньги, и я послал статьи в « Голос Минувшего », тотчас же попрошу аванс, 4(5)...1000.

Но вот что я теперь надумал : моя статья большая (т. е. тема большая и должна быть развита в нескольких отделах), и я напишу (Вы скептически улыбаетесь по поводу « напишу » — напрасно : знаете ли Вы, что за 10 дней пребывания в Juan-les-Pins я послал в « Благонамеренный » архивный материал, рецензии, две больших статьи в « Руль » и одну — в « Последние Новости » и 36 писем — сколько выплаченных долгов !) две первые статьи : первую (конечно, первую, иначе невозможно) пошлю Мельгунову, а вторую — Вам (по времени писания).

Когда это может быть ? Не раньше 15 и не позже 20-го июня. Хотите так ? Хотите или не хотите — напишите, дабы я знал, точать ли мне горячку, или лениться на песке у моря.

Относительно архивного материала, распределите его как хотите — все равно. Может быть лучше по алфавиту? Тогда бы я прислал Вам маленькую заметку — (строк 12-15) — письмо о болезни сумасшедшего Батюшкова.

А если бы Вы прислали мне статьи « Русской Земли » с выпадами против меня, был бы Вам очень признателен: я всегда люблю, когда меня ругают, даже такие невежественные люди (я недобросовестен) как безымянный неудачник Мебер. Кажется, я видел Вашу тетушку на пляже, но не спрашивал ее — неудобно: такая седая и почтенная дама с непоседливой и мало приятной девочкой лет 12. Так?

Ответьте добросовестно на все. А о Монте-Карло — помолчим, ибо еду туда сегодня.

Ответьте же!

Преданный Вам

М. Гофман

Café-Restaurant du Pont du Lys
Juan-les-Pins
11.6.1926

Милый Дмитрий Алексеевич,

спасибо Вам за Ваше письмо, действительно очень милое. И все-таки Вы не совсем хороший: « Русской Земли » (так кажется?) не прислали мне.

Что же Вам сказать? — Вашу племянницу зовут не Макси?

Уже четыре дня сижу над статьей для Мельгунова « Психология творчества Пушкина » из второй главы « Науки о Пушкине ». Думаю чрез три дня ее окончить и тогда засяду за статьи для князя Шаховского под заглавием « Жизнь и творчество », « Восторг, вдохновение и труд ». Второе обещает

быть интереснее первого (но может быть, только может быть, немного длиннее, а м. б. и короче), и у меня уже рука чешется приняться скорее за второе.

А что же у Вас будет вообще в 3-ей книжке? Вы так и не написали. И не написали, что сделали с рукописью Савинова (меня мало трогает, совсем не трогает ее судьба, но хочу знать ее судьбу) — обязательно напишите. А Монте-Карло... Монте-Карло вздор: там был всего четыре раза и за все четыре раза проиграл меньше, чем вчера в один день — стыдно сказать — в Ницце — еще стыднее — в несчастный « буль ». Пока держался на 1, 2, 5 франках — все шло благополучно, а как пустил в ход 20, 100... Сердце так билось, что думал не выдержит. А потом — так стыдно было показаться домой сыну и еще стыднее писать телеграммы, на которые м. б. не получу и ответа... Глупо! (А вечером еще допроигрывал в Juan-les-Pins'ском казино).

При сем прилагаю кусочек о Батюшкове и мои и сына моего приветы.

Преданный Вам

М. Гофман

Довольны ли Вы мной?

ИВ. Ф. НАЖИВИН

НАЖИВИН Иван Федорович (1874-1940). Писатель.

До революции напечатал несколько сборников рассказов и очерков. В 1920 г. покинул Россию. В эмиграции издал « Записки о революции », Вена 1921, « Среди потухших маяков », « Из записок беженца », Берлин 1922. Роман « Распутин » (Т. 1-3, 1923) и « Собачья республика », 1935. Умер в Брюсселе.

15.VIII,25

IVANE NAGIVINE
11, rue Chelui
SPA (Belgique)

Милый князь, — одной русской даме (с польским паспортом) нужно помочь выбраться из Польши. Не можете ли Вы зайти по этому делу на rue du Commerce 111, во-первых, и 39, rul de la Loi, во вторых ? Везде 1/4 часа. Буду чрезвычайно обязан. Ответ, пожалуйста, телеграммой или экспрессом. Если да, то сейчас же вышлю нужную бумагу. Нужно только засвидетельствовать мое удостоверение.

У меня от времени до времени накопляются всякие книги. Хотел бы послать их в Лувенскую Библиотеку. Как адресовать ?

Жму Вашу руку.

Ваш *Н.*

— « Бояре » поедом едят меня за моего « Стеньку Разина » !

(без даты, но на почтовом штемпеле стоит 1925).

Милый князь, сердечно благодарю Вас за справку, но я плохо выразился, вероятно, или Вы плохо меня поняли : нужно было совсем не визу, а разре-

шение на выезд из Польши, и дама эта русская галичанка и никогда русской гражданкой не была. Но теперь за дело взялся милый Перовский, у которого есть связи, и обещал все к четвергу закончить.

По записочке Вашей вижу, что чем-то Вас обидел. Верьте: не хотел. Значит, нечаянно. Если я писал Вам, что письма Ваши чрезвычайно будоражат меня, то совсем не в обидном для Вас смысле, а Вы, в самом деле, все задевали за то, что у меня более всего болит. Но это не вредно, хотя иногда и тяжело очень.

Хорошо бы воскресить, но на новых началах « Носорог » *). Главное начало: не спать, но работать. Стыдно так сидеть.

Ваш *Н*.

Приезжайте подышать, но предупредив.

---

*) Речь о русском писательском объединении в Бельгии, нами названном « Единорогом ».

20-го августа 1925

Дорогой Иван Федорович,

Честное слово, ничем Вы меня не обидели. Вообще по этому я сужу, что из меня должен выйти плохой писатель, если выйдет какой-нибудь. Посудите сами: не имею достоинства — обижаться. За то, что я не всегда вижу это достоинство в других, мне уже от Вас, кажется, влетело. Но за обратное ругать меня некому.

Я рад за русскую галичанку, что сможет она, наконец, покинуть Галицию, раз Перовский взялся за дело.

Письмо Ваше могло бы меня не застать. Я

только что приехал из Нормандии, Диеппа, Парижа, чтобы через несколько дней пуститься во Флоренцию, Рим, Неаполь, Капри, Сорренто, а через три недели в Венецию и... Бельгию, в конце концов. Подвезло мне в частности.
О носороге : моя очередь быть пессимистом.

Вы в SPA. Вероятно — навеки (раз уже клише с 11, rue Chelui заказали). Перовский в « двадцатом веке » (это, пожалуй, еще дальше, чем SPA).

Дон Аминадо в « долговом отделении » — в Passy. Страховский не сегодня-завтра обзаведется четырьмя детьми и... тоже, вероятно, переедет в SPA.

Положение самое безотрадное !

Нет, « Единорог », пожалуй, впал в безнадежную летаргику, если быть еще оптимистом.

За приглашение — благодарю очень. Приехать же не могу, как видите. Может быть Вы заглянете к нам. Буду рад, если через месяц.

Вам глубоко преданный

Шаховской

Не говорю Вам сейчас одной вещи, из-за пессимизма Вашего.

(очевидно август 1925)

Раз Вы уже на отлете, то переписываться нечего, милый князь, — желаю Вам успеха и удовольствия и завидую Вам немножко : люблю я Италию. Если будете в Помпее, спишите, пожалуйста, для меня надпись на стене дома Цецилия Юкундуса (латинская). Когда вернетесь, будем говорить об одном деле, а о каком, узнаете тогда.

Какой вещи мне не говорите из-за моего пес-

симизма? Интервенция с вождем?*) Так ведь у меня волосы седые и над такими авантюрами можно только скорбеть.

О «Носороге» буду стараться, но надо построже быть с президиумом. И в то же время — пошире.

Ну, будьте здоровы и наслаждайтесь (хотя сейчас в Италию слишком рано).

Ваш *Н.*

---

*) Я был очень далек от зарубежных политических споров («Николаевцев» и «Кирилловцев» и т. д.) и сообщить Наживину я хотел не об этом, а поделиться с ним своей идеей создания чисто литературного журнала. Но я не имел даже и мысли приглашать его в сотрудники, т. к. не считал его подлинным писателем и, когда он обнаружил это, то проявил не только скептицизм, но и встал в резкую оппозицию к моему замыслу. Это видно будет из дальнейшей нашей переписки.

(без даты)

Если Вы уже вернулись, милый князь, не откажите навести справку для одной студентки: в каком университете в Бельгии или Франции есть кафедры по славянской филологии? Буду весьма обязан. И простите, что затрудняю.

Если Вы, кстати, дадите мне адрес того американского дядюшки, который может и мне устроить путешествие в Италию, скажу спасибо. Если это «пелеринаж» по случаю юбилейного года, то сколько они берут и как дело с визой?

На днях уезжаю на короткое время в Париж.

Ваш *И.Н.*

(без даты)

Дорогой Иван Федорович,

Год тому назад у Вас был пессимизм « активный », даже более скажу : радостный (я о внешнем) и бурный даже.

Теперь же как будто, пессимизм принимает « женские » очертания, чтобы не сказать больше... Впрочем, все это касается « формы ». Вот я Вам не верю (так прямо и говорю) что Вы « догниваете ».

Мне сейчас пришел на ум образ (всю ответственность за его правильность возлагаю на него самого) : « Вы идете задом, видите перед собой « гниение », но все же осязаете свой отход от « гниения ». И Вам просто « надо » итти вслепую, т. е. задом : иначе Вы не будете видеть смысла ухода от « гниения »... Оставить что-нибудь « за спиной » Вам нельзя. У Вас странная, хорошая, зрячая « негативность ». Именно оттого что идете задом. Но именно оттого-то *Вам, кроме как на пройденный путь*, не на что смотреть *).

Простите, дорогой Иван Федорович, что я Вам это говорю, но я знаю, что Вас все можно сказать (так же как всеми словами можно меня выругать).

Спасибо за сведения о « Стеньке »...

Что касается до « гниения » Запада, то многими мальчиками это, действительно, устанавливалось. Не только многими, но и всякими. А всякими не по возрасту только, но и по « установкам ». Что же до « поплевания свысока », то было и это.

Хотя не всегда : сие нужно сказать из высокой справедливости.

Я бы солгал, если бы покаялся, что не чувствую гниения. Я чувствую гниение. Но если у всех французских парламентариев дрогнули носы, то это вовсе

не значит, что у всех русских они не провалились. Здесь не о парламентаризме, конечно, а о « всем », о целостном ощущении жизни и всяких смыслов. Как на грех, прочел только что Шпенглера о « прусской идее » и читаю К. Леонтьева. Первый — атеист, но по гениальности (вероятно) так « схватил » Россию, что я удивился. Непременно прочтите: « Прусская идея и социализм ») она выпущена после первого тома « Гибели Запада »)... Впрочем, все это, в той или иной мере, то же « бешенство бесплодных сообщений » — о котором говорит Леонтьев, говоря о цивилизации.

Ваш преданный *Шаховской*

---

*) Это было деликатным указанием И.Ф-чу на отсутствие у него *светлой* веры и надежды. (А.И.)

23 ноября 25

IVANE NAGIVINE
11, rue Chelui
SPA (Belgique)

Ваше письмо тронуло меня, милый Дмитрий Алексеевич, друг мой. Вы, кажется, единственный поняли, что мне можно говорить все. Вы правы: это так. До этой степени совершенства — пишу слово сознательно — уже дошел. Теперь надо подниматься на следующую; надо уметь не только все слушать, но и все говорить. Постараюсь. Ваш образ о гниении и обо мне слишком утончен для меня. Не ухватываю по бестолковости. Но опять Вы правы в том, что не верите мне в моем « догнивании ». Я недавно перенес операцию, очень устал и потому

нахохлился. Теперь снова возвращаюсь потихоньку к жизни и вижу, что силушки еще очень много, много даже задора. Словом, повоюем. Но, с другой стороны, есть две вещи, которые очень гниют меня или, точнее, по-крестьянски, гноят меня : первая — это материальные заботы — тяжко вести беженскую жизнь, имея шестерых на руках. А второе — одиночество. Травят и справа и слева нестерпимо. Но « андреевский флаг никогда не спускается » — даже тогда, когда он спускается. В последнее время, впрочем, и тут явился просвет : в то время, как вся своя братия травила, не покладая рук, моего « Распутина », теперь немецкая печать устраивает ему такую встречу, какой я, по совести, никогда не ожидал. Пускают мои немцы в оборот такие эпитеты, каких я и повторить не решаюсь. Издатель мой ходит поэтому хвост пистолетом. Вот уже во-истину не знаешь, где найдешь и где потеряешь.

А сегодня, в довершение благополучия, получил чрез Бобринского письмо, что Государь Император с большим удовольствием прочел мой труд « Где наша земля обетованная » и выражает мне свое — впрочем, не так : Свое Высочайшее одобрение. Когда повезет, так уж повезет. Но каковы комики !..

Насчет гниения могу сказать : круты та не перекручуй. Это Вам часто надо напоминать. Если эти гниют, а у нас носы провалились, то о чем же собственно идет речь ? Ведь если здесь гниют, то, очевидно, что где-то за далью непогоды есть блаженная страна, где не гниют. Где же эта страна ? Или, может быть, была раньше ? Так почему она... сгнила ? Непонятно. А если везде гниют по-разному, то почему это гниение хуже другого ? Просто от человека везде попахивает.

Искренно сожалею Вас, что тратите время на

Леонтьева и Шпенглера. И даже «гениальны». И что такое гениальны? Это правда, пожалуй, «бесплодное сообщение». По крайне мере для меня. Я ушел от всего этого. И очень рад. Как Толстой с Сикстинской мадонной: надувался, пыхтел, чтобы себя уверить, что это чудесно — и не мог. Кстати: я только что кончил книгу о Толстом. Кажется, сказал кое-что новое.

Кстати о книгах. Вы нашли пути к издательским карманам. Похвально. Скажите им, что у неблагонамеренного писателя Наживина есть неблагонамеренный Степан Разин — вдруг клюнет?.. Книжка любопытная. Переводится немцами.

А пока прощайте. Ваше последнее письмо было мне так приятно, что я даже сразу и навсегда простил Вам речь о Пушкине и многое другое.

Ваш *Н.*

2 дек. 25

Дорогой Дмитрий Алексеевич, — тороплюсь остановить Вас на пороге смрадного преступления. Ехать в Бр. мне незачем: у меня много работы — и работы любимой — и покидаю я ее всегда неохотно. Но ответить Вам на Ваши вопросы могу и отсюда*).

Вы спрашиваете: сколько давать складчикам, не много ли 50 %, как выгоднее делать объявления, как выгоднее назначать цены и проч. Все эти вопросы — говорю решительно без всякого желания острить — сводятся к одному вопросу: как мне лучше тонуть? По-моему, это довольно безразлично. И потому можете давать и 50 % — обычное, — и делать и не делать объявления, и назначать какие угодно цены: тонуть неизбежно. Если бы даже

Вы сумели достать сотрудниками Толстого, Достоевского и Гоголя, и то Вы не удержались бы дальше 3-4 номера. Да и то при большом терпении издателя. НИКАКОЙ журнал сейчас не пойдет, — Ваш же менее всего. Вы страдаете тем — извините — что Мольер назвал..., впрочем, не Мольер, до него, но всего равно : пресьозите в мысли. Этот товар менее всего спрашивает русская тупоголовая и вульгарная эмиграция (доказательство : успех глупого и бездарного Краснова).

Но если Вы пишете, что издатель ухлопывает в дело последние денежки, то есть, развеяв их на ветер — Ваше предприятие ветер, — ему ложиться на соломку и щелкать зубами, то — кажется мне — лучше его об этих перспективах предупредить. Говорит Вам это не только старый писатель, но и старый и крупный издатель. Затея детская, наивная, не выдерживающая даже самой слабой критики. Конечно, Вам, молодому, лестно напечатать несколько страничек своих, но... лучше остановиться и пожалеть « последние денежки ».

Конечно, знаю, что Вы меня не послушаете.

Затем : проницательность вещь хорошая, но в меру. И надо помнить, что можно ошибиться. Письмо мое к кн. Урусову написано совершенно серьезно. Но, конечно, монархисты тут не при чем : монархист Иван Сусанин, а эти милостивые государи какие же монархисты ? Просто под соусом монархизма им хочется скорее пробраться к своим сейфам и землям. И написано, повторяю, все это совершенно серьезно и я буду обязан Вам, если Вы в шутку это обращать не будете. Я, впрочем, готовлю и другие выступления, из которых видно будет, что шутить я совсем не имею охоты. Мне совсем не до шуток, уверяю Вас.

Вот сейчас получил письмо от В.И. Гурко — едва ли примет он мой ответ за шутку. Нет, нет, шути, но знай меру!

Ваш *Н.*

---

*) Несомненно был Наживин обижен, что он не был приглашен к участию в « Благонамеренном ». (А.И.)

Декабрь 1925 г.

Дорогой Иван Федорович,

Безусловно тут недоразумение : о каком « смрадном преступлении » говорите Вы? Преступление перед кем? Я, винюсь, вероятно, не совсем точно смог передать характер моего журнала (мой же собственный характер, конечно, Вы имеете полное основание игнорировать). Цель журнала моего отнюдь не коммерческая, издатель это знает и на это охотно пошел. Иной журнал затевать я был бы не в состоянии (конечно не по силе, а по слабости), — и не только в нынешнее « вульгарное и тупоголовое » время эмиграции, но и во всякое время, не исключая сегодняшнего советского.

Спросил же у Вас совета не по наивности, а в убежденности, что наилучшее распространение его даст возможность выпустить хотя бы № на один более числа, которое можно предвидеть. Только всего.

Я радуюсь, что семейное положение мое позволяет мне сейчас вести мое скромное литературное дело в каком-то отношении свободно — вне зависимости от коммерческой стороны.

Но какое же это преступление? (перед кем?)

Это-глупость, скажут многие (и даже, может быть, добавят: « смрадная глупость »)... Но, как нельзя одновременно служить Богу и маммоне, так нельзя одновременно вкушать обвинения от всех людей (люди никогда ничего даже не одобряют вместе)... Иные обвинят, другие поймут, третьи — похвалят (но эти опаснее всего)...

Помню, в Вашем « Интимном » есть философски-мрачное недоумение в строках, где Вы говорите о круговороте физических явлений, куда попадает человек: все случай, все бессмысленная и холодная закономерность природы... Но Вы не равнодушны к этому (или, может быть, это одно из выражений Вашего равнодушия?) Здесь важно выяснить одно: человек есть ли лишь усовершенствованная трава? И тогда разве можно считать преступлением что-либо травное? И тогда « нетравное » (возвышающееся над законом произрастания травы) просто немыслимо, просто не может быть совершенно. И здесь отпадает самая мысль о возможности кощунства и преступления. Если же человек не трава, а выше травы и выше физики — разве уж так будет преступно для него пользоваться своими человеческими преимуществами и не всегда идти в ногу со своими физически непреложными законами. Ведь все дело может уместиться в этом: « око за око » — биология, а « подставь правую щеку » — преступление против биологии. Биология же не знает и понятия « преступление ».

Я Вам не верю, когда Вы говорите о покупке и продаже литературы как о творчестве. Не верю, потому что я видел, как катились по Вашему лицу слезы, когда Вы мне читали о « Iешуа ». Не о будущих гонорарах Вы тогда думали, и не говорите мне о них сейчас.

Вы проповедуете продажность всего, не веря ни в какую другую « биологию ».

То, что мой журнал умрет, если его не захочет поддерживать другой какой-нибудь не-коммерсант, это мне ясно. Но ведь умрут и через каких-нибудь две-три пустяшных тысячи лет — исчезнут с земли мои следочки, даже если я буду когда-нибудь с « именем »... Меня охватывает, Иван Федорович, какая-то необычайная радость при этих мыслях. Я думаю, что все канет во тьму, все, что не нужно никому из бессмертных. Бессмертных потому, что могущих плакать хоть над чем-нибудь...

С « письмом » Вашим я совсем не шутил. Я кажется сказал « щекотите себя ». Это не в смешном смысле, а в другом.

10 декабря 25

Один мудрец сказал : мнения, что гвозди : чем больше по ним колотишь тем глубже они входят. Поэтому, всякая переписка и всякий разговор вообще почти бесполезны, а с вами, молодой друг мой, в особенности : я уже говорил Вам, что я Вас ощущаю на луне или даже дальше. Но уступая дурной привычке разговаривать, попытаюсь ответить на Ваше последнее письмо.

Насчет смрадного преступления я, конечно, пошутил, но раз эта шутка Вас как будто задела за живое, открою то, что под ней было скрыто не шуточного. Причем, раз Вы поняли, что мне можно говорить все, то Вам надо примириться с тем, чтобы выслушивать от меня все. Я все больше и больше срываю с себя те проклятые компромиссы, за отсутствие которых Вы, помнится, меня хвалили по поводу моего выхода из Единорога. Их на мне, как

парши какой, еще много и освобождение от них такое благо, за которое нельзя заплатить достаточно дорого.

Из Вашего письма я понял, что Ваш издатель не знает, что делает. И тогда, конечно, положить его на соломку дело не Бог знает как красивое — особенно, если это делается сознательно. Слава Богу, этот грех с Вашей молодой головы последним письмом Вы сняли. Но в то же время наложили другой грех и на себя и на издателя. Раз Вы знаете — а не знать этого НЕЛЬЗЯ, — что Вы бросаете деньги в огонь, готовите несколько пудов печатной бумаги, испорченной бумаги для крыс, то... нельзя такое дело начинать никак, ибо у нас в Льеже есть старый член суда, который с сыном вдвоем живет на 250 франков в месяц. А на Монмартре видел я такое, что приехал домой совершенно больным, не метафорически, а по настоящему : эти русские женщины, эти девушки, эти слезы, которые я сам видел, этот голод, который я видел тоже сам, настоящий, не для красоты слога... Так вот в такое время швырнуть несколько десятков тысяч франков крысам есть... не преступление, извольте, но непростительное озорство. Ибо нет НИКАКИХ шансов, чтобы журнал Ваш пошел — тому порукой Ваша пушкинская речь, после которой Ваша матушка просила меня по дружбе уговорить Вас вступить на путь обычно-человеческого языка... Видите ли : я вырос в крестьянской семье, где за малейшее баловство с хлебом, который добывался своим горбом, бабушка награждала « безо всяких разговоров » звонким ударом ложки по лбу. А потом я многие годы прожил под тенью яснополянского дуба и своими глазами видел, как старик выворачивал конверты, чтобы использовать для своих работ чистую сторону их. И я не

могу иначе относиться к этому заведомому мотовству. Если Вам хочется что сказать, то Вы нравственно обязаны сказать это так, в такой форме, чтобы это было коммерческим делом, чтобы это окупило себя и даже дало прибыль. В этом стыдного ничего нет — стыдного много в обратном.

Вы напоминаете мне о моих слезах при чтении моего Иешуа. Не стыжусь их. Конечно, не для сантимов работал я над этой вещью 26 лет, конечно, но если бы эта вещь дала мне сантимы настолько, чтобы избавить меня от пользования бесплатными католическими институтами для моих ребят, то я был бы весьма счастлив, что мой труд принес мне то, что должен приносить всякий труд. И теперь, когда моего Распутина встретил такой неожиданный и большой успех в Германии, я рад: этого дня, заклеванный братьями по перу, я ждал 35 лет. И это увеличит мой заработок и даст моим детям возможность дышать легче. Гордиться тем, что Ваше предприятие не коммерческое, простите меня, может быть, и благородно, но... но... прибавляйте тут что хотите... Но я думаю, что если бы этот « труд » Ваш — увы, только в кавычках — освободил Вашу матушку от ига « Самовара », она была бы благодарна Вам. Да, я писал не для сантимов, но не имею ничего против них. Для меня писательство мое есть дело без всяких кавычек, такое, как для плотника или техника его дело. Меня глубоко трогает евангельская трагедия — самая прекрасная из всех трагедий — но я не удовлетворился бы своей работой, если бы не надеялся видеть в ней один из тех таранов, которыми люди свободной мысли вот уже века бьют по блуднице, сидящей на водах многих и упивающейся кровью святых. Я не атеист, но я и не прихожанин прихода, как заявил об этом недавно один

молодой человек, которому все хочется показать кому-то кукиш: накось выкуси... Помочь людям освободиться из-под страшной власти мракобесия и всех этих толстоносых батюшек, которые мучили — на моих глазах — тысячи и тысячи людей по острогам и ссылкам (начиная с кн. Д.А. Хилкова) — это святое дело. Между нами и ими примирения нет и быть не может. И когда я вижу что люди — как Вы — тратят свои силы на книгоедство мертвое, на пушкинские речи, которых не понимает никто, ибо это только слова, мне больно. Ах, Владимир Соловьев, ах, Шпенглер, ах Леонтьев... А вокруг вас ваш собственный народ ругается матерно — матерно, так, как ни один другой народ в мире, гниет в сифилисе и тонет в водке... Ведь за это преступление достаточно крепко выпорол он вас всех только что, и Вы все-таки не поняли, за что Вы принуждены кланяться « Самовару ». Ужасно, друг мой — и в этом ослеплении я и вижу первые ядовитые плоды Вашего книжничества, мертвого, ужасного. Странно сказать, но от Вашей « Эррии » — так позволили Вы себе назвать гнилую Францию — я полевел чрезвычайно. От одного слова *). Ибо Эррио, хотя, вероятно, и карьерист, но живой человек, а Вы — умышленно мертвый схоласт, который в то же время уверен, что Эррио во главе государства не место, что место это, по-видимому, должно принадлежать только белой кости и голубой крови...

И не в чем так не сказалась эта сжирающая Вашу душу мертвечина, как в Ваших рассуждениях на тему о траве и человеке: кто « выше » и проч. По-Вашему, трава это только воплощение какого-то физического или химического закона, и, естественно, Леонтьев гениальный « выше » ее... Я провожу каждый день в лесах два-три часа наедине,

и у меня язык не перевернется превознести так гениального Леонтьева за счет физической травы. Я не только помню прекрасное откровение Лермонтова : Когда волнуется желтеющая нива..., Я помню и удивительные слова удивительного человека : взгляните на лилии полей... — не для того взгляните, чтобы почувствовать свою высоту, а как раз наоборот, чтобы стало стыдно. Он чувствовал за травой нечто побольше физических законов и гениальности Леонтьева. И знаете ли Вы учение о траве Аббаса Эффенди, вождя бабибов ? И слышали ли, что говорят современные индусы о жизни мертвой материи ? Конечно, нет... А следовало бы — хотя как лекарство, по крайней мере...

И бросьте « смотреть в корень ». Никакой « щекотки » в моем письме к Урусову нет. Это просто исполнение долга. Я вижу, куда Урусовы нацелились — на наши спины, и я заблаговременно предупреждаю их : напрасно, спины наши нужны теперь нам самим. И больше не влезете. Недурно сказал им же недавно Гурко : лучше взять Россию без ваших усадеб, чем не получить ни России, ни усадеб. Умно и правильно. Мое письмо это не только акт самозащиты, но и акт нападения. И мы хотим жить и чувствовать себя людьми. Моего родного дядю земский начальник приговорил к розгам — больше этого не будет. И потому никакой щекотки, а только дело, самое практическое дело для себя, для России, для моих детей...

Пока прощайте. Ждет д е л о — не для крыс.

Ваш *Н.*

---

*) Характерное признание мысли горячей, *слишком русской..* Это еще виднее дальше, в потоке прямо демонической ненависти к Церкви, вступившей в истории еще не виданный период гонения на святыни. (А.И.)

14-ое декабря 1925

Мне совсем не стыдно, дорогой Иван Федорович, заниматься делом, не приносящим прибыль, или даже не окупающим себя. « Мне было бы стыдно, если бы мне было здесь стыдно », — вот как я даже скажу.

Но стыдиться выгодного дела это все-таки то же, что и стыдиться « невыгодного » — в некоторых случаях.

Перебить на 10000 франков шампанских бутылок — стыдно, когда рядом голодают, да и вообще стыдно. Но истратить эти 10000 (и при том не мои, а те, что все равно не пошли бы голодающим — непосредственно), истратить их на предлог, хоть малостью помочь писателям некоторым... и при том все же что-то создать... (Впрочем, Вы правы, вероятно, что в смысле « созидания » шансов у меня не много. Но я в этом не виноват, я работаю без компромиссов с собою) — мне не стыдно все это.

Вы меня называете « мертвым схоластом » и даже — « умышленно мертвым ». Какое безумное — для меня — противоречие ! (не для Вас, « для Вас » — это верно). Я три года тому назад странно и неожиданно обрел величайшее и удивительнейшее Успокоение, и верю и знаю, что человек бессмертен с лилиями, что смерть это — третье и окончательное рождение человека, что Иисус Христос не « красивый образ трогательной трагедии » *), а Бог, сказавший людям : « сами вы боги », по-настоящему сказавший, а не как Ницше — литературно. Чтобы возвысить лилию, надо возвысить человека. Унижая человека — лилии по настоящему не возвысишь. Возвышать людей — и даже поучать их — верю, нельзя « не очистившись » (как-то). Поучать можно только очищаясь. Отсюда

— смирение (я знаю, что это мертвое для Вас слово, но оно центр). Я не вижу, я не могу постичь, как можно жить не веря, что Бог соединен с человеком реально и нерасторжимо без усилий человека. У меня отнимается язык в разговоре с теми, кто не видит, что Христос есть Бог Живой, и отнимается потому, что я ощущаю реальность — человеческую реальность — Бога БОЛЕЕ, чем реальность вот этой бумаги, на которой я сейчас пишу.

Отнимается же язык еще — по великой моей беспомощности: я не знаю, как лучше показать реального Бога тому, кто Его не видит. Я могу взять карандаш и... показать. Могу взять — все равно что... и показать.

Но все это — « безумство для эллина, для иудея соблазн ». Я вижу, что не родясь вторично человек будет хоть сто лет крутиться белкой в земном колесе, и ничего не увидит, что бы ему дало окончательное, а не основанное на чуемом душою самообмане, успокоение.

Когда я не могу говорить о Боге, я знаю, что надо говорить « неслышно ». Иначе: надо любить всякого человека. « Какая тебе честь если ты любишь того, кто тебя любит, это и язычники делают »...

Чести же хочу не человеческой, а божеской, которая не мне одному дается, а даваясь мне — дается всем.

Три года тому назад я не фигурально, а действительно, реально (что за реальность мое первое рождение ? и с этим Вы согласитесь) родился на свет Божий. И скоро, конечно, буду рожден « окончательно » (или « умру »).

Вы меня хлещете тем, что считаете свою жизнь (работу) « одним из таранов которыми люди свобод-

ной мысли » бьют по тому, что для меня свято, т. е. по земной Церкви. За что? Что я Вам сделал? Но раз Вы это уже сделали — Вы, конечно, все можете делать, что в Ваших силах — мне хочется узнать одну вещь, которую я так и не знаю: *к какой свободе зовете Вы меня?* Мне *очень важно*, чтобы Вы мне показали *свою свободу, которой бы Вы могли поделиться.* Я знаю, несмотря на все, Вы относитесь ко мне скорее хорошо, чем плохо. *Вы не откажете* написать мне о свободе. О Вашем « письме » ничего не скажу. Вам лучше знать истинные его причины.

А об Эррио, я вовсе не хочу его прогонять. Разницу между им и, скажем, Петром Великим, вижу такую же, как между яблоком и грушей. Не удивляюсь тому, кто любит фрукты, которые я люблю средне. Бороться же за то, чтобы все ели яблоки — считаю странным, мне не понятным.

Всякое правление (за исключением, может быть, просвещенных — утопических, конечно ! — тиранов) — игра атомов по законам механики : если ты меня не загрызешь, я тебя загрызу. Грызть людей за то, чтобы они считали грушу выше яблока, — это для меня непонятно. Форма правления меня не интересует нисколько. За имения свои (их-три) не держусь нисколько, лишь бы они были в добро тем, кто ими пользуется. (Алданов, — помню — не хотел верить, что я *очень рад* всему, что случилось, т. е. тому, что я вовек не буду кавалергардом и т. д.)

Я *могу* Вас понять : Вы нападаете открытым письмом на тех, кто приговаривал Вашего дядю к розгам.

Скажите — это второй мой вопрос (менее важный, конечно, чем первый), — *как* мне отвечать

тем, кто : 1) без суда расстреляли моих тетю и дядю, тишайших людей, 2) таскали по тюрьмам мою мать, держали ее на волосок от расстрела и измывались над нею в уездной тюрьме, 3) подвергли моего старика-отца мучительной смерти от лишений, голода и невозможности жить, достать кусок хлеба собственным трудом — его, всю жизнь работавшего на нужды крестьянские вокруг...

Глубоко Вам преданный *Шаховской*

---

*) Никакие трагедии для меня не существуют, если Бог не сходил на землю.

16 декабря 25

Нашей переписки я решительно не понимаю, милый Дмитрий Алексеевич : нельзя разговаривать на двух разных языках, не понимая один другого ни в одном слове почти.

Если выбор у Вас таков — на шампанское или крысам, — то, конечно, что в лоб, что по лбу : все равно. Но Вы тем не менее нравственно обязаны сделать все, чтобы крысам бумага не попала, чтобы помощь Вашим друзьям-писателям продолжалась подольше, чтобы, другими словами, дело пошло и дало доход. Есть идеализм, который стоит, гордо подбоченившись, и заявляет : смотрите на меня, вот я какой чудесный. Именно этот идеализм нашей интеллигенции был одной из причин нашей гибели : ее борьба против романовщины была вполне основательна, умна и честна — жить под этой дохлятиной было дальше немыслимо. Эти выродки губили все. Но великая ошибка интеллигенци была в том, что она не желала узнать, как практически нала-

дить ту новую жизнь, к которой она рвалась. И — сломала себе шею. И нам надо учиться не прорабатывать, а зарабатывать. Керенский плох во всех областях — как в социализме, так и в приходе.

Отметив попутно такую мысль — если это мысль — набекрень, как « никакие трагедии для меня не существуют, если Бог не сходил на землю », и записав ее в тот отдел своих материалов, в котором бережно хранится и Ваша пушкинская речь, перехожу к дальнейшему : тут возразить можно только словами же (ибо это только слова), а я этого не умею и учиться не хочу этому искусству. Перехожу к следующей занозе : поучать можно только очищаясь. Извините меня : поучать нельзя никак и никогда. И смирение для меня отнюдь не слово мертвое — я не Бунин, не пуп земли, — но наоборот, это альфа и омега, начало и конец, но смирение смирению все же рознь. Есть такое смирение, которое хуже всякой гордыни. Мое смирение таково : я — штучка маленькая, знаю — за 50 лет жизни — очень мало, но... и все другие тоже маленькие и тоже ничего не знают.

И я тоже, как и Вы, не понимаю, как можно жить не веря, что Бог соединен с человеком нерасторжимо, но отсюда очень далеко до утверждения, что Христос — одна из неудачных выдумок человеческих, которыми переполнена история рода человеческого, — есть Бог Живой. Если Вы говорите тут об Иисусе, то это совсем не Бог живой (кстати : бога мертвого нет и не может быть), а только незаконный сын девицы Мириам из Назарета, который, в числе сотен других таких же проповедников выступил против господства грубых и сильных и был ими удавлен на кресте. И в нем Бог слышен или виден особенно ярко. Но и там, где он не виден, Он все же

есть : от запутавшегося Шаховского до одуванчика при дороге. Даже, может быть, в митрополите Антонии Он есть или, по крайней мере, временами бывает. Да, Он реальность, большая, чем этот лист бумаги.

Никогда не хлестал я по дорогой Вам церкви— по той простой причине, что по этой фантазии хлестать нельзя, и не надо — я хлещу и буду хлестать по той исторической церкви, которая блядует сейчас в Москве. Да и всюду. Я попробовал было примириться с ней, но кончил еще большею ненавистью. Это не бардак даже, а нечто еще более страшное. И сейчас я обдумываю мое публичное заявление о моем выходе их числа достопочтенных чад православной церкви. Все никак не могу найти, кому это обращение адресовать. Да и форму выдержать надо. Если бить, так бить. Но это выступление мое ни на иоту не заденет преподобного Нила Сорского, память которого я чту, может быть, несколько больше Вашего.

Ибо он является не только носителем правды земной. И простой, всем доступной, без выверта, без вызова а-ля молодые Ковалевские, о которых без судорог я и думать не могу.

На Ваш вопрос, к какой свободе я Вас зову, — отвечаю : никого и никуда я не зову, ибо мне некогда беспокоиться о вселенной : никто еще не основал того журнала, в котором подумали бы о том, что и Наживин нуждается. Так что надо заниматься делом более прозаическим, чем кого-то куда-то призывать. Но под свободой я понимаю простую и всякую — всякую — свободу. Если Вашим детям начнут вычитывать гнусную, полную грязи и глупости непроходимой библию как слово Божие, надо

сказать : вздор — это не слово Божие, но величайшее из кощунств. Если толстомясый и толстоносый поп начнет приглашать вас колокольным звоном в церковь, чтобы служить обедню девице Марье и уверять Вас, что она родила бога от голубя, то вы можете засмеяться и идти домой : это не религия, но кощунство и глупость. Бог слишком велик и свят, чтобы такими сказками — глупыми, пошлыми — паскудить его. Если Вам говорят, что Русслянд юбер аллэс и что надо поэтому немцу выпустить кишки, — скажите, что все это вздор и что надо с немцем и с французом дружно трудиться. Если вам скажут, что Леонтьев гениален, — не верьте этому, потому что ничего гениального за собой он не оставил, а только несколько туманных книжек — крысам. Но вы — не крыса, а живой человек, которому нужен хлеб жизни, а не грязная бумага. Есть индусы, которые о Боге говорят всегда отрицательно : Бог не то, Бог не это... Так и свободу мою лучше всего определять отрицательно. Если державный вождь обещает вам выставить армию в 3.000.000 « на все готовых людей », то скажите ему прямо, что он лжет, что вы во всяком случае в этой армии не состоите и что на все вы ради него совсем не готовы, что он — шарлатан. Немцы хорошо говорят : будь самому себе верен. Вот моя свобода. И помни, что права на жизнь у всех равны. Яблоков можно и не заставлять всех есть обязательно — это большевизм — но предоставить им право и возможность есть те же яблоки, что кушаете и вы, надо.

Если Эррио для Вас одинаков с вождем — т. е., что оба мазурики, то по этому поводу спор исчерпан : я согласен. И лучше не идти ни к тому ни к другому. Анархизм, как общественное учение, уто-

пия, но анархизм, как индивидуальное состояние, вещь невредная (к теме о свободе.)

На Ваш чрезвычайно странный вопрос, как отвечать Вам тем, которые замучили Ваших близких, скажу коротко: попросить у них смиренно прощения за то, что Ваши близкие и Вы поставили их в такое скотское состояние, что им некогда, невозможно было узнать, что так поступать нельзя. Народ был на 75 % безграмотен, народ был утоплен в водке, народ четыре года заставляли гнить в окопах и совершать все возможные и невозможные мерзости, народу толстоносые попы вместо религии дали грязнейшее и грубейшее суеверие. А в это время вы, в своих усадьбах, читали Вольтера, Дидерота, Анатоля Франса, тосковали с Шопеном, наслаждались Чайковским, а между делом приговаривали людей к розгам, гнали их безоружных на убой... То, что понесли Ваши близкие, это искупление. А Вы в гордыне вашей — где тут толковать о смирении?.. — до сих пор этого урока не поняли и понимать не желаете и вместо того, чтобы исполнять свой долг по отношению к родному народу, основываете с вывертом какого-то Благонамеренного, в котором будет кривляться обезьяна Ремизов, никому и ни на черта ненужный... Сперва расплатитесь по родительским векселям, а потом уже, если будет возможность, и роскошествуйте духовно. Понимаете ли Вы меня хоть тут? Или опять « щекотку » слышите?..

И вы ошибаетесь: выступая против монархистов-нахлебников, сосунов, я не мщу им за порку дяди, — я никому мстить не желаю — но хочу сделать невозможным, чтобы сосуны снова стали пороть людей. Их два любимых слова: пороть и вешать. Но на этот раз — руки коротки.

В заключение — ибо пора возвратиться к делу,

которое должно кормить, — очень благодарю Вас за сообщение замечательного словечка « нашего знаменитого Анатоля Франса », Алданова. Это так для него характерно, что он не верит радости Вашего освобождения, что лучше и не придумаешь. Да, это новый фруктик в садах российской литературы : на деле — богатый сахарный заводчик, на словах — социалист, т. е. другими словами, там прикащики собирают с мужика копейками миллионы, а здесь — почет и уважение и от Керенского, и от самого Эррио. Это номерочек тонкий. И когда он беседовал на темы дня со мной, он точно также все поражался моему терпимому отношению к большевикам :

— Не понимаю... Да как же это ?.. Ведь вот я — был богатым человеком, а теперь ничего нет...

Но одет чистенько. И кушает за обедом финшампань. И мировую катастрофу сводит к своей личной маленькой фигурке, которая вот обеспокоена, немножко обеспокоена, ибо в качестве социалиста стол и дом жидку везде готов. И даже в Анатоли Франсы бездарь эту произвели. Кстати : обратите внимание, что в его романе нет ни единого симпатичного лица, ни единой шутки, ни единого раската смеха — мертвый талмудист смотрит вокруг себя остекляневшими глазами, ничего не понимает и плетет, плетет всякую чепуху, мертвую, жалкую, нелепую... (Сравните многоцветного Анатоля, Толстого, Гоголя...)

Но Вы, если Вы действительно рады, что вы не кавалергард, — да будет путь ваш по жизни легок ! Это уже очень много, этот отказ от « калигварда », как говорили солдаты. И без имений проживете. Только не играйте — умышленно пишу — в Благонамеренные, а поищите-ка здорового и хлебного дела, хлебного в том смысле, что Вам и Вашим оно

даст хлеб насущный, а читателям — то же самое в духовном смысле. А озорство — бросьте. Довольно...

Будьте здоровы.

Ваш *Н.*

17 дек. 1925

Дорогой Иван Федорович,

То, что мы с Вами на двух планетах, это я увидел в первый же день нашего знакомства (узнав — зачем Вы едете в Иерусалим).

Но часто, очень часто приходится кричать кому-нибудь на другую планету и слышать его обратный голос. Неестественного в этом, по-моему, ничего нету: Одна и та же солнечная система (как в физическом, так и в духовном смысле) — голос не может не доходить до того, кому ты говоришь.

Но все же требуется одно большое условие, нарушением которого в нашей переписке я не грешен: полнейшее отсутствие чувства злобы *) или досады во время чтения или писания письма к тому человеку. Спасибо Вам за все Ваши сердечные страницы: я верю только им.

Если есть раздражение, (а, еще более, — раздражение « законное ») — лучше всего для меня не верить ему, потому что настоящий человек, подлинное лицо его — это « несущий хоть каплю мира ». Я не из личной только точки собственного душевного состояния исхожу, а из объективной целесообразности разговора — в смысле пониманий. Понять что-нибудь « до конца », перелить полностью мысль одного человека, со всеми ее неповторимыми отношениями, в другого человека — вещь в логическом порядке безусловно невозможная (опыт схоластики, да

и вообще всякой философии), невозможная, конечно, и в не-логическом. Осуществимая — живой опыт это показывает — лишь в каком-то *особом* порядке, который многие называют сверх-логическим, где логика не нарушается, но е ю ничего нельзя доказать. (Честертоновский « сумасшедший человек не тот, кто потерял логику, а тот, кто потерял все, кроме логики »...)

По мне, всякое человеческое общение и взаимное святое понимание прекращается с прекращением любви (« симпатии », если кто хочет кастрировать слово « любовь »).

Отсюда мое упорное — « бегание политики »... Я чувствую свою слабость и знаю, что несомненно буду в политике плеваться злобой, ненавистью, раздражением, плеваться, конечно, впустую для окружающих меня, но н е в п у с т у ю д л я с а м о г о с е б я. В связи со всем этим, я просто не понимаю к какой свободе зовете Вы меня? « В с я к а я » свобода для меня — непонятный символ. Я именно и прошу объяснить мне эту « всякую ».

Не хочу вспоминать революционного : « извозчик, ты свободен? Что же ты не кричишь : « да здравствует свобода ! ».. Но Вы меня не убедите (да и не пытаетесь убеждать), что свободу можно и надо определять « отрицательно », как индусы Бога. Бог индусов самое отдаленное предчувствие Бога (сравн. с Персией, Египтом ! **).

Поскольку будет в языке существовать слово « положительное », как обратное слову « отрицательное », человек н и к о г д а не примирится с перенесением содержания первого во второе, а второго в первое. Иначе : полный абсурд, в с е разговоры пре-

кращаются, потому что при таких словах человек не может иметь никакого доверия даже к собственным словам своим.

Если определять Бога, как « не то », то, конечно, можно определить так и свободу и вообще все можно так определить. Индусы последовательны, они зарывают себя в землю. Но люди, сочувствующие им — по моему на словах только — как скажешь иначе ? — сочувствуют. Стараются не лечь в землю, наоборот, выскочить из нее и активно бороться, бороться сладостно, до самозабвения пока сама — всегда близкая — смерть не подведет маленькую черточку их бушеванию на такой-то планете в такой-то солнечной системе...

Как язык у Вас поворачивается выговорить, Иван Федорович, что Вы чтите память преподобного Нила Сорского, когда Животворящего Бога, которому молился Нил называете именем столь кощунственным, что нельзя произнести Вашего кощунства христианину, а церковь, в которой возрос он и о которой молился он, Вами именуется... непотребными словами.

Нет, Иван Федорович, Вы возносите Нила Сорского до себя, как свидетельствует и Ваша фраза, что Вы « хотели помириться » с историческою Церковью. Если бы Ваше « примирение » совершилось — Церковь не была бы Церковью, она была бы блудницей, она не была бы той, которая — пусть невидимо для слепых « есть и будет на земле до конца дней » требующей для общения с нею только одного : покаяния. Эту Церковь ни Толстой, ни Франс, ни Вы никогда не видели, потому что если бы видели, — не умер бы Франс несчастным, развратным насекомым, не умер бы Толстой несчаст-

ным, духовно-конвульсирующим... не готовили бы и Вы себе одну из таких смертей, Иван Федорович...

Д.Ш.

---

*) Видит Бог, не грешил против этого убеждения своего в переписке нашей. « Франция-Эррия » - это была не злоба. а шутка, которую часто в жизни считаю безобидной.

**) Здесь, конечно, речь не об *апофатическом* богословствовании глубочайшего постижения божественного мира, а о самозамыкании самости в ничто. (А.И.)

ВАЛ. БУЛГАКОВ

БУЛГАКОВ Валентин Федорович (1886-1966)

Известный толстовец.

Последний секретарь Л.Н. Толстого. В 1923 г. покинул СССР и поселился в Чехословакии. Выпустил в Праге книгу « Толстой моралист ». Был с М. Цветаевой одним из редакторов литературного сборника « Ковчег », Прага 1926. В 1943 г. вернулся в советскую Россию, где выпустил новые книги о Л.Н. Толстом. Жил и умер в Ясной Поляне.

Praha-Všenory, 26 января 1926

Глубокоуважаемый г-н Редактор,

позвольте сердечно поблагодарить Вас за высылку мне № 1 « Благонамеренного ». Ваш журнал — удивительное и прекрасное явление во всех отношениях. У всех, кто его видел, одно желание : чтобы он подольше продержался. Кроме того, все недоумевают : как Вам удалось добиться практического осуществления такого богатого и по внешнему виду, и по содержанию органа. « Журнал русской литературной культуры » — как хотелось бы, чтобы это предприятие укрепилось. Будем стараться этому помочь.

С уважением и приветом *Вал. Булгаков*

Не кажется ли Вам, что отдел *м. хроники* еще более оживил бы Ваш журнал.

V. Bulgakov
Všenory, č 33
Dobřichovice
Tchécoslovaquie

Прага - Вшеноры, 25 апреля 26

Любезный Князь,

Искренно благодарю Вас и дирекцию « Благонамеренного » за любезную присылку 2-й книги Вашего прекрасного журнала. Я отмечаю появление каждой книжки « Благонамереного » как некоторое чудо и как новое большое достижение русской культуры.

Душевно преданный *Вал. Булгаков*

V. Bulgakov
Všenory Prahy
č. 33 - Tchécoslovaquie

Všenory, Чехія, 29 мая 1926

Любезный Князь,

Одновременно с этим письмецом посылаю Вам последнюю, только что вышедшую книжку чешского журнала « Славянское обозрение », с рецензией г-жи Мельниковой-Папбушек на 1-ю книгу « Благонамеренного ».

Искренно уважающий Вас *Вал. Булгаков*

С 15 июня — адрес :
V. Bulgakov. Velhá Chulchle u Prahy, č. 14

П. МУРАТОВ

МУРАТОВ Павел Павлович (1881-1951)

Писатель и известный искусствовед.

Автор книги « Образы Италии » и нескольких романов.

21.1.26

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Спасибо за журнал, мне присланный. Теперь я понимаю смысл названия — на*мере*ния действительно у журнала *благие.* Но удивительно и это не очень хорошо получилось с первого раза. « Молодость » ...(неразб.), а вероятно так и надо. В отдельности же стихи плохи, проза мало талантлива, афоризмов слишком много; все это делает журнал больше « для себя », нежели для читателя — как « лицейские » журналы. Для читателя есть Бунин да еще некие рецензии.

Но возможностей, верно, много и писательски удачнее будет, м. б., 2-й номер... (неразборч), то совсем другим и удачным.

Если « Благонамерен »... (неразборч.) и старым людям печататься, не напечатает ли он одну из моих комедий, а именно « Шекспириану » ? Размер ее, однако, листа 2 ¼. В ней много странностей и даже нелепостей, но это-то пожалуй « молодых » не испугает.

Во всяком случае жду известия и желаю всего лучшего.

Ваш *П. Муратов*

P.S. Кн. Святополк-Мирский все-таки нелепо судит

о « советской » прозе. Федин — бездарный и безвкусный писатель на уровне многих современных плохих немцев. Бабель не лучше Юшкевича + провинциальный эстетизм и провинциальная несдержанность. Хорошая вещь « Детство Люверс » Пастернака. Талантлив Григорьев (« С мешком за смертью »). Куда замечательнее Булгаков, есть и другие, но я и забыл их имена.

18.II.26

Многоуважаемый Димитрий Алексеевич,

Я все-таки не понял, присылать ли мне « Шекспириану » для Вашего журнала или нет.

Пожалуйста напишите без всяких « стеснений », ведь Ваши соображения о размере журнала очень справедливы. Но вот, по ассоциации, « окружение »-то это, конечно, пустяки — мне же совершенно безразлично. Оплата Ваша, похоже, вполне обычная сейчас.

Вообще статей по... современности писать не хочется, наскучило писать об этом в газетах. Но я Вам пришлю что-нибудь моих приятелей Lo Gatto или Coffi.

Уважающий *П. Муратов*

24.II.26

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Через 2-3 дня пошлю Вам « Шекспириану ». Только уже теперь печатайте ее, а то мне будет неприятно.

Ваш *П. Муратов*

27.4.26

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Я получил вторую книгу журнала с извещением, что « Шекспириана » печатается в третьей. Напомнились просьбы : 1) не печатать ничего « стихами », кроме вспомогательного стишка, 2) сделать несколько оттисков, что, я думаю, при хороших средствах « Благон-го » (в смысле типографском) — возможно.

Если угодно знать мои впечатления, они таковы : журнал уже имеет какую-то физиономию, часть слабейшая его это... (неразборч.) прозы. В общем же заметен уклон к « евразийству » (я, разумеется, противник евразийства и готов основать секту « неазийцев »). Для многих евразийцев — как, напр. кн. Мирский, « Русь » (да еще « советская » !) привлекательна *экзотически* *).

Напрасно распоясалась у Вас Марина Цветаева — она женщина талантливая, но неряшливая. Все же более неряшливая, чем талантливая.

Преданный Вам

П. Муратов

---

*) Очень тонкое замечание. (А.И.)

18.5.26

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Я говорил с Вяч. Ив. *). Ему хочется поместить у Вас стихи. Однако он несколько колеблется ввиду того, что может быть этой осенью будет вынужден вернуться в Россию. Я его не уговаривал — сами понимаете, в этой плоскости чужой совет не нужен. Он собирается Вам написать, а зная, что я это сделаю раньше, просил меня передать Вам, что его мол-

чание по поводу Ваших стихов отнюдь не означает плохого к ним отношения. Напротив, он выразился, что Ваши стихи ему « по душе ».

Статью Каффи прилагаю при сем.

Ваш *П. Муратов*

---

*) Вячеслав Иванов.

20.5.26

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Неожиданно выяснилось, что мне необходимо 16-го июня поехать в Париж на две недели. Было бы очень мило со стороны журнала, если бы он прислал мне деньги за « Шекспириану »...

Деньги следовало бы послать чеком на Банко ди Рома или Кредито Италиано, а чек в заказном письме отправить не позже 3 июня. Все это, разумеется, если возможно.

Преданный Вам

П. Муратов

ЛЕВ ЗАНДЕР

ЗАНДЕР Лев Александрович (1893-1964)

Философ и литературовед.

Преподавал философию во Владивостокском университете (1919-1920) Покинул Россию в 1922 г. Был секретарем Р.С.Х.Д., видным деятелем экуменического движения. Автор книги о Достоевском « Тайна добра в творчестве Достоевского » (1959) и о миросозерцании отца Сергия Булгакова « Бог и Мир » (1948), и также многочисленных статей.

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Очень благодарю Вас за память и приглашение участвовать в журнале. Сейчас ничего дать Вам не смогу: работа о Блоке (кот. подошла бы к стилю Вашего журнала) написана 3 года тому назад и требует серьезной переработки: так печатать ее нельзя. Статья о Китае уже давно отослана в Совр. Зап. и пока не возвращена. Других рукописей у меня нет; тем много, но только в сознании. В будущем надеюсь и Вам что-либо написать. Только не боитесь ли Вы, что от моего участия Ваш журнал станет неблагонамеренным?.. Что поделываете в отношении не литературном? Налаживается ли у Вас кружок? Как преломился в Вашей деятельности Аржеронн? Влияние его не только на молодежь, но и на нас — старых работников — оказывается гораздо сильнее, чем можно было ожидать... Моя тема об эмиграции (где кстати было уведомление или отзыв? я не видел) по Дост. собственно посвящена взаимоотношению религии и национализма. Я хочу подчеркнуть первоначальность и абсолютность религии и производность *всего остального*... К этой теме я еще возвращусь. Сейчас же я занят другим: мне поручено собирать деньги на Акад. В этом деле мне нужна помощь — чисто тех-

ническая, но довольно большая, впервые постоянная работа. Напишите мне к кому бы я мог обратиться в Брюсселе? М. б., Вы взялись бы помочь мне — хотя в организации этого дела. Сердечный привет от жены и меня.

Привет.

Ваш *Л. Зандер*

Villa les Chaumettes
Combault par Pontault (Seine et Marne)

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Я был очень тронут Вашим вниманием и сердечно благодарю Вас за присылку « Благонамеренного ». Читаю с удовольствием...

Извлек из своих завалов книгу о Блоке, написанную мною 3 года тому назад, — и еще раз убедился, что так печатать ее нельзя; а когда переработаю и переработаю ли — не знаю. М. б., отдельные главы...

Но вот несколько вопросов: 1) у меня есть большая статья о Китае (« Храмы, стены и люди ») — листов 5; не научная; впечатления « Einblick in die chinesiche Seele », описания, рассказы, экскурсы. Можно ее разделить на несколько. Те кто читали — хвалили. Она уже давно лежит в одной редакции, откуда я еще не имею ответа. Могу ее оттуда извлечь, но в этом есть матерьяльный интерес, ибо если они ее напечатают, то я получу вознаграждение; а я — почти безработный. Вследствие этого хотите ли Вы ее? 2) какие условия Вашего журнала?

Я давно уже хочу написать критический комментарий к Молодцу Цветаевой (которого оч. люблю), комментар. философский, а не поэтический,

стр. на 10-15; если напишу, то хотите ли его? 3) хотите ли прекрасные переводы стихов Р.М. Рильке моего приятеля Щербакова из Шанхая. Я их год тому назад отдал М.И. Цветаевой, но она их потеряла; теперь я снова их от него выписываю; там стихотворений 6.

4) хотите ли прозу Щербакова — оч. хороша.

Из жизни тайги, Камчатки, Китая и т. п. И с фабулой и с жанром. Она тоже в одной ред., но я могу ее извлечь. Он ее мне поручил 3 года тому назад.

Пока этим ограничусь. О журнале Вашем высказываться не буду; литерат. обсуждение потребовало бы большого времени (да к тому же я еще не все прочитал): а о внешности двух точек зрения быть не может

Сердечный привет

Ваш *Л. Зандер.*

К. КЕРН

КЕРН Константин Эдуардович родился в 1897 г. Воспитанник Императорского Александровского Лицея. Участвовал в Белой Армии. Эвакуировался в 1920 году с армией Врангеля. Принял монашество в Сербии в 1927 г. В 30-х гг. — профессор парижского Богословского Института. Автор многочисленных богословских трудов. Скончался 10.2.1960 г.

1.2.1925 г. Београд
Приштинска 50
К.Е. Керн

Глубокоуважаемый князь!

К сожалению, не имею удовольствия знать Вашего имени отчества. Н.М. Зернов передавал мне, что Вы предполагаете приступить к изданию сборника, посвященного вопросам православной богословской мысли и церковной науки и что Вы набираете материал. И что предлагали Николаю Михайловичу помочь Вам в этом деле. Если мысль об издании сборника м. б. осуществлена и Вами ощущается потребность в материале, я бы с величайшим удовольствием хотел принять участие и придти Вам на помощь по мере своих слабых сил. Мне бы интересно было знать, какого рода материал Вас интересует — чисто ли Богословского содержания или более популярного и публицистического. Со своей стороны я бы мог предложить что-либо из области литургики, в частности у меня есть небольшая статья, посвященная литургической концепции Богоматери, или же мог бы предложить Вам выдержки из более капитального труда по истории литургии с Иоанна Златоуста. Эта последняя работа носит характер более серьезный, благодаря греческим тек-

стам и специальнои терминологии и т. к. написана как университетская работа на сербском языке — нуждается в переводе и более доступной обработке и посему не может быть Вам сразу представлена.

Прошу Вас принять уверение в моем к Вам совершенном уважении.

Константин Керн

Београд
Приштинска 50

18.3.1925

Глубокоуважаемый князь !

Благодарю Вас сердечно за Вашу любезность и согласие поместить в Вашем сборнике и мое писание. Шлю статью о Божией Матери. Другого ничего нету сейчас. Благоволите не отказать в любезности сообщить мне, когда предполагаете выпустить Ваш сборник, а если можно, его программу.

Надеюсь на то, что не откажете в любезности выслать по выходе его авторский экземпляр, равно как указать условия возможности получения отдельных оттисков.

Не откажите принять мое уверение в искреннем уважении и преданности. Господь да благословит Ваше благое начинание ! *)

Константин Керн

При сем : Статья « О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь ».

---

*) В начале 1925 года я еще не остановился на решении издавать журнал *литературной культуры*. Еще была мысль православно-религиозно-философского журнала. (А.И.)

Београд С.Х.С.
Приштинска 50

19.4.1925 г.

Дорогой князь Дмитрий Алексеевич!

Простите, Христа ради, что так бессовестно задержался с ответом на Ваше письмо от 3. 4-го. Последние дни поста, равно как и пасхальная неделя, столь были преисполнены всяких дел около церкви и церковных служб, что это отнимало почти все время. Времени не было подумать о письмах, хотя постоянно возвращался к мысли о необходимости ответить на Ваше любезное сообщение. Мне чрезвычайно приятно, что моя статья произвела на Вас благоприятное впечатление и что дала Вам кое-какие новые мысли или помогла найти новые пути для Вашего религиозного познания и, в частности, касательно личности Богоматери. Писалась она с любовью и после долгого переживания ее внутри себя, прочувствования и продумания.

Трудно нам, людям, постигать столь великие истины Богопознания, даже больше — трудно нам отрешиться от многих предрассудков разума, от разумничания и, победив гордость своего рассудка, отдать себя сердцу и в свете веры начать подход к Источнику Света и Разума без какого бы то ни было примата рассудочности, а исключительно самой верой. Конечно, совершенное знание сочетается с верою, и истинная вера (без суеверия) не противна разуму. Истинный гнозис — взлелеянный еще в умах и чаяниях александрийских феологов — конечно, должен стать нашей гносеологической проблемой, — но ведь мы, идя к истинному гнозису, сумели ли подойти так прямо и непосредственно, не отвергнув в тупик религиозного суесловия и суеверия или же противуборствующей глупости. Ведь:

«рече безумец в сердце своем — несть Бог». Глупость-то всегда наш враг, и Антоний Великий почитал высшей добродетелью рассудительность.

Ведь мы молимся же: «просвети мысли и очеса», «ум наш от тяжкого сна лености восстави». «Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего»... Да и как же личности в тьме неведения, тьме пребывать и сопрягаться со Светом и истинной жизнью. Ведь молимся же паки постом: «Свет сый, Христе, просвети мя Тобою». Слышите! Просвети! А ведь сие что есть? Богопознание. Так же причащение Божественой сущности, только умное; молитва — сердечная или, вернее, умно-сердечная: умом в сердце, — вспомните Симеона Нового Богослова, — и таинство непосредственное — телесное! Богословствование истинное, верное — есть таинство ума! Постижение непостижимого, приближение к Богу умом своим, конечно, очищенном от скверны и гордыни.

Ведь помните, иудеи недоумевали и ругались Христу (Иоанн 6): как можно есть плоть человеческую? Это было бунтом их рассудка. (А ведь манны-то небесной которую отцы ели в пустыне, — хотелось, ох, как хотелось). Не убоимся и мы приобщения умного от Истины Господней и истинным путем. (А суть-то ясна: Иоан. 14,6) и не пойдем по сему неистинным путем, приводящим во внешнюю тьму, ибо в ней нет жизни, а лишь мрак небытия, а правильным путем (т. е. Иоан. 14, 6) и истину обретем и жизнь. А раз обретем путь истинный, т. е. Христа, то и тем самым к истинному Богу придем, ибо «Аз и Отец едино есма». А кто освятит? Дух Святой, он и очистит, и приведет к Пути, и даст идти по Пути, и проведет по нему, по Жизни и Истине, ибо Он всё животворит и всё освящает!

Простите мое феологическое умствование. Но это я на Ваши слова о познании Вами и Вашем подходе к Божественной полноте, к Богу Отцу, Сыну и Св. Духу.

Приятно так читать Ваши слова о том, что Духа имеете всюду ощущение и *« не имеете времени печалиться »*.

Помоги Вам Господь в Ваших трудах и в мыслях. Господь да укрепит Вас и поможет Вам. А как со Сборником ?

Храни Господь. Напишите ! Буду рад письму.

Преданный Вам

Константин Керн

Примеч. Константина Эдуардовича Керна (впоследствии архим. Киприана, проф. Богословского Института Преп. Сергия в Париже, я помнил еще по Лицейскому Саду. Он был лицеистом 76 Курса (я — 79-го). Хотя он был еще мирянином, когда писал это свое письмо, но уже слышится в его словах пастырское живое горение веры. (А.И.)

Письмо епископа ВЕНИАМИНА,
б. Севастопольского

Еп. ВЕНИАМИН Федченков был инспектором Богословской Академии в 25-30 гг. в Париже.

Перед войной вернулся в Сов. Союз. Скончался в 1950 г. Похоронен в Псково-Печерском монастыре.

Дорогой мой друг о Христе Господе, Дмитрий !

Да благословит Вас Господь !

Простите, что ни разу не ответил : от прошлого письма затерялся адрес. Теперь имею от 2-го. Спасибо за приветствие с днем Ангела.

Да ! нужно оставаться *в Академии*. Это окончательно выяснилось в 2 момента : 25-го сентября — перед литургией на престольный праздник — и 13-го октября в день именин. Бог велит здесь пребывать *).

Теперь одно « лишь » : нужно быть достойным служения сего. Это очень трудное. Рад издательству. Не пригожусь ли я ? Сердце влечет к « строгому » православию, а не « Путям » **) лишь « к » нему. Если да, то азкажите тему и объем. Конечно, бесплатно.

Познакомился с Вашей сестрой. Очень похожа и видом и душой. Слава Богу !

Прошу молитв.

Любящий *Е. Вениамин*
1925 24/9

---

*) Характерная, для еп. Вениамина (тогда Инспектора Академии, духовника моего), откровенность духовная.

**) Намек на журнал « Путь » Бердяева. (А.И.)

ЕВГРАФ КОВАЛЕВСКИЙ

КОВАЛЕВСКИЙ Е.Е. родился в Петербурге 26 марта 1905 г. В 1928 году окончил Богословский факультет на Сергиевском Подворье. В 1944 г. основал Институт Св. Дионисия и стал его ректором. Много сделал для распространения православия на Западе. В 1964 г. был посвящен в епископы. Скончался в 1970 году.

Горе мне падшему. Осыпали меня многолюбвеносными письмами, грамотами, словесными пожеланиями..., а я ...живу без программы дня и соединяю всю бестолочь жизни общественной, церковной, художественной, учебной, и т. д. Икона Знамения готова, висит на стене в гостиной. Сунулся послать — не принимают, чересчур тяжело.

И « Пушкина » *) читал. Мне нравится краткость и мягкость слога, напоминающие древние стихиры Андрея, как и стихи Ваши.

Как кружок Ваш и что о. Петр? Ему кланяйтесь очень и очень и от всей нашей семьи. У нас скоро академия открывается. Кандидатов 634 человека, принять можно только 70.

Простите за краткость. Храни Вас Господь с Матерью своею и Дмитрий Ростовский.

Молитесь о мне, друг, с Богом.

Евграф Ковалевский

---

*) Доклад мой на собрании в Брюсселе в день Пушкинского юбилея 1924 года.

...В кружке в последний четверг пришел (один из членов, с которым Вы не познакомились еще) Сережа Матвеев. Должен был быть спор или дополнение о Докладе Вышеславцева о « Символике сердца », на котором Вы, кажется, были. Но он не удостоил, и был ярый спор с Сережей, сторонником не-спасения еретиков *). Сей четверг он читает о « Фаусте ». Он же принадлежит к боевой троице — (он, М. Энден, А. Ставровский), которая выступила с речами после доклада Клименки о соединении христиан, в котором последний утверждал, что сущность христианства : в уничтожении *по возможности* страданий в мире. Уходя из залы, наша троица кричала « Анафема, отряхаю прах с ног моих... » Вчера было открытие Фил. Бог. Рел. академии. Читал доклад Н.А. Бердяев. Публика разношерстная — от эсдеков до корниловцев. Оппоненты были классические. Смысл доклада, обычный для Н.А. **), о крахе гуманистической эпохи культуры, начало нового периода. А. В. Карташев ярко дополнил, выдавивши мысль. Выступил старичок Иванов ***), говоря, что нужно выступить с крестным ходом на Москву, одним словом, « Деларю ». Потом князь Г.Н. Трубецкой сказал, что при царе было де хорошо, оттого новой эпохи не нужно и еще вообще о народном сознании, потом почему-то Владыка Евлогий, де не нужно думать, что Н.А. Б. фантазер. Перемена действительно будет и происходит. (Вообще правильно, но можно было не говорить). Далее Гуревич (Борис Аронович) о идейном социализме, который не прочь присоединиться. В нем был бес, вокруг него летала черная змейка — « бездарная наглость ». Потом рабочий, начиненный большевик. Никто его не понял, что он хотел сказать, ушел в дураках. Да ! еще до кн. Трубецкого выступал Липеровский ****) — « Песси-

мистически » пророчил катакомбы. Г.Г. Кульман нашел, что значительно легче жить в катакомбах, чем слушать оппонентов. Закончил Н.А. добро...

Пока с Богом, И.Х.

Спасайтесь. Молитесь.

Братья мои тоже « ликуют Вы » с днем тезоименитства.

Е. Ковалевский

---

*) Середина 20-х годов. Русские мальчики в Париже спорят — *спасутся ли еретики?* и о том что « сущность христианства не в уничтожении ли возможности страданий ? ». Это и была Россия в Париже. (А.И.)

**) Бердяева.

***) Петр Конст. автор православно-мистических книг.

****) Доктор мед., впоследствии прот. Лев. Один из основателей РСХД.

Архимандрит ВИТАЛИЙ

Православная миссия
на Словенску
Ном. 8080
1926,23.3

Димитрию Шаховскому

М.Г.

Приношу Вам сердечную благодарность за Вашу жертву на церковное издательство. Еще более благодарен Вам за Ваше доброе письмо, в котором Вы изъявляете готовность помогать по мере сил нашему делу.

Посылаю Вам календарь, на выходном листе которого помещены книги Вашего издания.

Мы работаем здесь среди русского народа, веками остававшегося под владычеством Мадьяров, а теперь — когда весь народ Русский страждет от насилия большевиков — получившего политическую свободу и возможность свободно развиваться на началах русской веры и культуры.

Но по условиям времени мы должны ставить целью нашей миссии так, чтобы *она сама добывала средства для своего жития и роста*. Она должна из своих корней выделять соки для роста здесь Православия.

Не имеем ни церквей, ни домов, ни земель (все это в руках у униатского духовенства), ни даже готовых приходов, — их нужно еще организовывать. Имеем в своем распоряжении — лишь любовь народа, нашу готовность трудиться ради Божьего дела и такую же готовность собирающегося братства: — братство отдает свой труд, воодушевление. Я считаю это великим капиталом, большим, чем тот, которым я располагаю в Почаеве, имея готовую, оборудованную типографию, машины, здание и т.д.

Бодро, с надеждой на Бога и с верой в правоту

нашего дела мы начинаем свой труд. Вначале было очень тяжело, но первые шаги пройдены, — труд дал некоторые плоды — сбережения, запас изданий. Сбудем эти издания, получим выручку, — сможем лучшее и большее издать, и так умножая Слово Божие и ведение нашей веры, будем вместе с тем умножать и благосостояние Миссии и расширять ее дело.

Конечно, чем больше мы встретим сочувствия, ободрения, помощи от братий наших — русских православных, тем легче будет нам совершать свой труд, тем скорее и обильнее будут рост и плоды.

Вот почему я обрадовался Вашей готовности и отзывчивости. Я понимаю, что в эмиграции все бедны, но мы научились друг друга понимать, друг другу содействовать, и любить общую нам веру православную и русскую культуру, на ней взросшую.

Я условий жизни и состава эмиграции в Бельгии не представляю, но Вы лучше моего сами можете видеть, чем бы оттуда можно было поддержать здесь на последней свободной пяди Русской земли наше общее дело. Предполагаю, что Вы могли бы содействовать *распространению наших изданий*. Может быть, и *работу дали бы нам издательскую,* ибо здесь при дешевом труде и издания обойдутся дешевле. А мы бы заработок могли обращать на расширение нашего дела. А много еще нужно! Типографию лучше оборудовать, дом купить, училище для местных русских священников организовать, издать возможно больше богослужебных книг, учебников, назидательной литературы и т. д.

Будем глубоко благодарны за всякое содействие.

Благодарный Вам Ваш богомолец

Архимандрит Виталий с братией.

Ф.А. СТЕПУН

СТЕПУН Федор Августович (1884-1965)

Философ, известный писатель и публицист.

Выслан из России в 1922 г. Автор « Писем прапорщика-артиллериста » (Москва, 1918. Переиздан в Праге, 1925), автобиографического романа « Николай Переслегин » -- Париж, 1929, книги мемуаров « Бывшее и несбывшееся », 1956 и сборника статей « Встречи », 1962.

До войны был профессором в Дрездене (1926-1937), а после войны (в 1947) в Мюнхене. Был постоянным сотрудником « Современных Записок » и « Нового Журнала » и одним из основателей и редакторов журнала « Новый Град ». Умер в Мюнхене.

Дрезден, 2-го сентября 1925 г.

Князю Д.А. Шаховскому

Большое спасибо, князь, за приглашение участвовать в « Благонамеренном ». По тому, что Вы написали мне, образ затеваемого Вами журнала представляется мне хотя и не очень четко, но все же весьма интересным. Был бы очень благодарен Вам за некоторые добавочные разъяснения. Думается мне, многое уяснилось бы, если бы Вы сообщили мне имена участников, заглавия и размеры статей. Особенно хотелось бы знать, что Вы мыслите под отделом « благородной иронии » : может быть Вы могли бы назвать мне несколько « жертв » такого Вашего отношения.

В принципе я, конечно, согласен на участие в журнале, но для того чтобы взяться за перо, мне очень нужно было бы уточнить свое представление обо всем предприятии. Пока я еще не чувствую, что бы Вы хотели иметь лично от меня. Я мог бы себе представить « Благонамеренного » в романтических тонах, но мог бы сдвинуть его и несколько в сторону современной политики. Представляется мне также на основании Вашего письма возможным видеть в Вашем журнале задачу прежде всего стилистиче-

скую, но можно повернуть все и в сторону более действенного нравственного пафоса.

Примите уверения в искреннем уважении.

Федор Степун

P.S. Может быть, будете так добры и сообщите мне Ваши имя и отчество.

Брюссель, 4-е сентября

Глубокоуважаемый Федор Августович,

Мне очень приятно и лестно, что слово« Благонамеренный » вызвало у Вас некоторую плеяду, если можно так выразиться, образов. Назвать журнал было труднее, чем найти на него издателя (имя последнего — Григ. Соколов). Я перебирал и просил перебирать все отклики и все комбинации и только совсем недавно набрел на « Благонамеренного ».

Здесь именно, кажется, сплетались два единственно возможных рода названия журнала. Когда название значит и — когда оно ничего не значит.

К романтизму журнал несравненно ближе, чем к политике, потому что политики в нем не будет, за исключением... романтической. Подзаголовок : « Трехмесячник Русской Литературной Культуры » всецело определяет физиономию Благонамеренного. Вы просите сообщить хотя бы небольшой списочек « жертв » отдела « Благородной иронии ». Это мне очень трудно, но отнюдь не из-за каких-либо редакционных тайн. Но Вы можете уточнить потом : 1) Он мне мыслится большим. 2) Он будет представляться « задумчивыми шутками » всех, кто пошутил в минуту какой-нибудь грусти... 5) Вряд ли это все будет с подписями. 6) Приглашаются все. 7) Мочульский пишет, и если напишет, то даст две-три пародии на

кого-нибудь (он уже печатал в Звене, очень талантливые, на Бальмонта, Гумилева). Главным, я думаю, будет отдел статей. Прозу и — отчасти — поэзию хотелось бы предоставить молодым, отчего эти отделы не будут значительными... вероятно — скажем, по размерам.

К отделу статей первого номера привлекаются : М.А. Алданов, Кн. Святополк-Мирский, М.Л. Гофман, Л.И. Шестов, Бахтин, З.Н. Гиппиус (но она еще ничего не ответила), Кн. С. Волконский, Ходасевич (еще не знает, что даст : стихотв. или статью), Н. А. Пушкин (« сын почетного опекуна Александра Александровича »). Весьма возможно один московский поэт пришлет « Романтические письма из Москвы » — о поэзии сегодняшней...

Некоторую трудность имеют вынужденные размеры журнала. Статьи не смогут быть большими (минимум 2-3 среднепечатных страницы, максимум пол печатного листа — « синтетическая » статья Святополк-Мирского, тоже « культурно-историческая », по его выражению).

Возвращаясь к главному вопросу Вашему — « Хотелось бы, чтоб журнал любил прошлое извне ». Нащупывать и общупывать « провал » между... Буниным, скажем, и теми, кто где-нибудь в Петербурге, не без бунинского влияния... Благонамеренность в общупывании, посильная любовь к святому вообще, к неинтернациональному, в частности, — вот одно из выражений « программы », ее можно только честно формулировать. Кстати, Благонамеренный, кроме всех отделов своих имеет еще один — уже иронический — некоторые ответы на запрещение « Русского Современника ».

Очень надеюсь, глубокоуважаемый Федор Августович, что Вы не откажетесь принять участие в

журнале и прислать — не позже конца этого месяца — для первого номера хотя бы небольшую статью о том, что Вы не писали. Льва Исааковича Шестова я просил дать то, о чем он никогда не писал : предчувствие какого-нибудь странствия в душе какого-нибудь русского поэта ! (От Гофмана жду « Клевету на Боратынского », а если не подойдет по размерам — « О клубе парижских поэтов и литераторов »...)

Преданный Вам

Шаховской (Дмитрий Алексеевич).

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

Сделал больше чем мог, чтобы оправдать мое благое намерение дать статью для « Благонамеренного ».

Посылаю Вам свои « Не афоризмы ».

Был бы очень благодарен за присылку корректуры. Если это за отсутствием времени невозможно, был бы очень благодарен за тщательность корректуры.

С искренним приветом *Ф. Степун*

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич,

При всем желании я Вам статьи написать для первого № не смогу. Я кругом в долгу. Под рукой статья о Бунине, о Вл. Соловьеве и много лекционных обязательств. Все же я постараюсь прислать Вам несколько кусков из моих записных книжек. Если мне удастся сгруппировать их так, как думается и стилистически отделать — они, вероятно, подойдут Вам.

Все же раньше, чем дней через пять я и их выслать не смогу. Но Вы ведь, вероятно, опоздаете.

Очень рад, что у Вас издатель, стоящий за расширение. Обыкновенно издатели за сокращение.

С искренним приветом Ф. *Степун*

P.S. И кто это выдумал « Эолову Арфу » ? В прошлом году я прочел в « Дилхо », что написал роман для кинематографа « Гвадалквивир ». То была шутка Ремизова. Он перед напечатанием сам же читал им заметку.

Дрезден, 19-го фев. 1926

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич, давно собирался написать Вам и приветствовать № 1 « Благонамеренного », который меня поразил своей не только благонамеренной типографской внешностью, но и превращенностью намерения в действительность. Удивляюсь Вашей мужественности. Мне казалось бы, что с появлением 2-го надо было бы повременить, или Вы уже распродали первый ? Написать Вам в ближайшее время никак ничего не могу. Я страшно занят. Пересылаю Вам философский фельетон некого Хмелевского. Снестись с ним Вы можете через Сергея Иосиф. Гессена (Pradošoiree u Prahy č. 60 Tschechoslowakei). Я на днях уезжаю на юг.

С приветом *Степун*.

P.S. Охотно написал бы Вам по существу о « Благонам. » и Ваших статьях, но сейчас решительно некогда.

Grasse (A.M.)
Villa Belvédère
14-го марта 1926

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич, как мне ни грустно, но для 2-го № я дать Вам ничего не смогу, — я ужасно занят. Третьему, если он несколько запоздает, я быть может и смогу что-либо написать, быть может, маленькую статью, а скорее только распространенную рецензию.

По существу о « Благонамеренном » напишу Вам после второго №. Озабочусь также и рецензией о нем в « Соврем. Зап. ».

Хмелевского Вам по моему поручению выслали из Фрейбурга. « Письма прапорщика » высылаю Вам вместе с этим письмом. Простите чрезмерную краткость этой записки : очень много приходится писать.

По-моему, Вы очень энергично, не слишком ли, выпускаете свой журнал № за №-ом. Если у журнала там много денег, то я ничего не буду иметь против высылки мне обещанного гонорара.

С искренним приветом

Федор Степун

СЕРГЕЙ ЭФРОН

ЭФРОН Сергей Яковлевич (1893-1941 ?) Литератор.
Муж М. Цветаевой с 1912 г. Бывший участник добровольческой армии. Стал позже в эмиграции одним из организаторов « Возвращенства », (союз возвращения на родину). Был замешан в убийстве в Швейцарии бывшего советского агента Игнатия Рейса. Умер в тюрьме или был убит в Сов. Союзе.

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Всего несколько слов. № 2 « Благ. » очень, очень, очень удачен. С таким № можно поздравить редактора. Напористый, литературный, живой !

Соколов — молодец. С первой стр. чувствуется крепкая хватка. Замечательна гл. о начале войны. Чудесная.

Второе поздравление мое с тем, что откопали Соколова.

Подробнее напишу еще. А сейчас только :

Поздравляю !

С первой до последней стр. читал с неослабным интересом.

Ваш *С.Э.*

2/II.26

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Боюсь, что я не пришлю Вам отзыва о « Воле России ». У меня забрали книжку, а бегать искать ее — нет времени, ибо прикован к сыну, (Марина уехала на три дня в Вандею — искать дачу). Простите, что напросился и не выполнил обещания. Подвели « друзья ». У меня к Вам следующая просьба. Необходимо исправить мой отзыв о Ляцском.

Одна из последних моих фраз звучит не так, как я хочу.

А именно — я говорю:

« если в романе Ляцского есть автобиографический элемент (Вяльцев), то мы присоединяемся к группе мракобесов, не принявших Ляцского в Академическую группу » (Передаю приблизительный смысл). В таком виде моя фраза имеет характер личного выпада. Нужно исправить:

« если в Вяльцеве имеются черты автобиографические, то нам придется огорчить автора, ибо, исходя из романа, нам ничего не остается, как присоединиться к решению мракобесов не допустить Вяльцева в Академическую группу » (тоже приблизительная схема — Вам, если не поздно, предоставляю окончательную редакцию этого места).

Простите, что беспокою пустяками, но я очень торопился с присылкой и поэтому допустил эту оплошность.

Вы, верно, уже знаете из газет, что мы (Мирский, Сувчинский и я) задумали издавать в Париже Литературный журнал. Думаю — направление его будет Вам близким, хотя по темпераменту может Вас испугать (левый). Верю, что « Благонамеренный », наши « Версты » и литературная часть « Воли России » образуют единый литературный фронт. Тем более, что наши сотрудники (исключая российских) в большинстве своем и Ваши. Но Вы-то сами несомненно наш. Так, по крайней мере, я Вас чувствую.

Когда думаете справиться с типографией? № 2 « Благ. », благодаря статье Марины, вряд ли будет встречен той общей ровной доброжелательностью, какой был встречен № 1. И я этому радуюсь. Ибо плохо, когда все хвалят. Верно?

С Туринцевым переговорил. Он с радостью даст Вам стихи и статьи. Но о статьях Вам лучше с ним списаться самому. Его адрес:

3, rue Champollion, Hôtel Central № 9.

Зовут его Александр Александрович *).

Не собираетесь ли на Пасху в Париж? Хотелось бы до отъезда Вас повидать.

В понедельник устраиваем диспут. Докладчик Мирский. Тема: «Культура смерти в предреволюционной русской литературе». Будет бой. Кончаю. Всего Вам доброго.

Сердечно преданный

С. Эфрон.

---

*) Ныне — протоиерей, настоятель Патриаршего Трехсвятительского Подворья в Париже. (А.И.)

14.II.1926

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Свое обещание я выполнил — статья о критике будет в Вашем редакционном портфеле в ближайшие дни.

Спешно заканчиваю «Шинель», отложив все остальные дела и попечения. Очень прошу Вас указать мне крайний срок для присылки моей рукописи. Только укажите точно — без редакторского запаса («на всякий случай»).

Радуюсь, что встретимся с Вами. Уверен в том, что наши отношения с Вами пойдут на углубление и на укрепление.

Пишу перед отходом ко сну.

Спокойной ночи.

Ваш *С. Эфрон*

19.III.1926

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Всего несколько слов. Марина мне пишет, что Вы не получили моего « Тыла ». Я сам сдал пакет на почту экспрессом — за день до сдачи марининой рукописи и одновременно послал Вам телеграмму. На пакете был указан адрес отправителя, и потому рукопись на почте пропасть не могла. Но адрес я надписал редакции « Благонам. », не Ваш. Единственное объяснение — кто-либо в Вашей редакции затерял ее или запрятал. Справьтесь. Не руководитель ли?

Очень встревожен и огорчен.

С. Эфрон

1926

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Ответьте мне экспрессом, не поздно ли еще выслать « Тыл ». Нашел черновик — могу переписать.

Думаю, что поздно. Очень обидно получилось. Я, благодаря этой пропаже, пропустил « Волю России » и « Своими путями ».

Жду ответа. Я, между прочим, уверен, что рукопись пропала у Вас в редакции.

С. Эфрон

Ответьте пожалуйста Еленеву, принята ли его вещь. Адрес Еленева:

Prague Poste Restante.

Николай Артемьевич Еленев.

2.V.1926

Христос Воскресе!

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Очень жалко, что Вы сейчас не в Париже и все грубые нападки принуждены переживать в одиночестве. Ожидаемое свершилось. В Париже Адамовичи и Осоргины рвут и мечут по адресу Вашего « Благонамеренного ». Высоте и благородству стиля нападающих приходится только удивляться. « Последние Новости » и « Звено » разъярены. Впервые за восемь лет здесь зашевелились. Неблагонамеренный ветер (жизнь) напугал, возмутил, разозлил. Честь первой ласточки принадлежит Вам.

На днях выходят « Версты ». Высылайте Ваше объявление на обмен. Только, если можно, сейчас же. Идет верстка номера. Простите, что пишу телеграфично. Завален работой, по выпуску « Верст » и « Своими Путями ».

Желаю Вам светлых праздников.

Ваш *С. Эфрон*

ВЕРСТЫ
9, rue Dupuytren
Librairie « Moscou »
Paris

Кажется 3/VI.26

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

Простите, что не ответил на Ваше последнее письмо. Закрутился с выпуском « Верст ». Первый № стоит трех последующих. Вам это должно быть хорошо знакомо. На днях Версты выходят. Поместил Ваше объявление — прилагаю к этому письму

— наше для № 3 « Благонамеренного ». Что набрали интересного ? Когда думаете выпустить ?

Я в St. Gill'е. Маленький вандейский городок весь пропахший сардинками. Приезжайте к нам погостить. Отдохнете, как нигде. Сюда же собираются Сувчинские, Мирский (на немного) и, увы, Бальмонты (мил, но труден).

От океанского ветра я поглупел, и потому не удивляйтесь — способен лишь на « дачные письма ».

Душевный привет

Ваш *С. Эфрон*

ЛЕВ ШЕСТОВ

ШЕСТОВ Лев Исаакович (Шварцман) (1866-1938)

Философ и религиозный мыслитель.

Покинул Россию в 1919 г. Его книги переведены на большинство европейских языков.

« Версты » (1926-1928), журнал под редакцией Д.П. Святополк-Мирского, П.П. Сувчинского, С.Я. Эфрона и при ближайшем участии А.М. Ремизова, М. Цветаевой и Л. Шестова. Ном. 1-3. Париж.

Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)
Pension Kremer

21/VIII.25

Пишу без обращения — не знаю Вашего отчества. Ваше письмо переправили мне в Châtel-Guyon, где я проживу до второй половины сентября. Если к тому времени Вы еще будете в Париже, очень буду рад повидать Вас.

Жму Вашу руку.

Л. Шестов

Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)
Pension Kremer

29/VIII.25

Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич!

Очень жаль, что не пришлось нам встретиться в Париже. Само собою разумеется, Ваш журнал меня очень интересует, и хотелось бы подробно знать и о том, какие задачи он себе ставит, и кто редактирует его, и какие у Вас сотрудники. Важно даже, кто состоит издателем. Буду Вам очень признателен, если Вы напишете мне обо всем с возможной обстоятельностью. Что до моего сотрудни-

чества — я пока не могу сказать Вам ничего определенного. Вы хотели бы, чтобы я дал статью о русской литературе. Но ведь я собственно о литературе никогда не писал. Мои успехи философские и лит. постолько, посколько в русской художественной литературе я находил философские мотивы — у Дост., Толст., Чехова — я писал о литературе. О новейшей русской литературе я лишен даже возможности судить и думаю, что на эту тему гораздо лучше смог бы писать кн. Святополк-Мирский. Подойдут ли по темам и по размерам для Вашего журнала мои философские работы, об этом я не могу судить, пока не буду более осведомлен о физиономии задуманного Вами журнала. Во всяком случае, придется или не придется мне быть активным участником Вашего журнала — позвольте пожелать Вам всяческого успеха.

Жму Вашу руку.

Л. Шестов

В Châtel'и остаюсь до 12-15 сентября. Потом мой адрес :

Paris (VI). 41, rue de l'abbé Grégoire

Châtel-Guyon

6/IX.25

Многоуважаемый Димитрий Алексеевич !

Как мне ни грустно это — но, повидимому, в близком, по крайней мере, будущем, мне не суждено сотрудничать у Вас. Вы хотите непременно статью о русском писателе — и Вы, конечно, правы : у Вашего журнала свои задания, которые Вы стараетесь возможно полнее осуществить. А я сейчас работаю в другой области и вырваться, вернее выр-

вать время для работы, которая бы подошла Вам, никак нельзя. Вы знаете, что при условиях нашего эмигрантского существования — две трети дня уходят на внешние дела и заботы. Оставшихся немногих часов не хватает и в малой степени на то, чтоб выполнить хоть отчасти имеющиеся замыслы. Где уж там думать о статях ad hoc! Еще раз скажу — очень жаль мне, что не мог быть полезен Вам. Вашему журналу я вполне сочувствую — но, что делать: не дано нам...

Может быть, Вам пригодится мой совет?! Хотя Ваш журнал — чисто литературный, но все-таки, я думаю, под литературой Вы разумеете не только изящную словесность. Русская литература — всегда интересовалась философскими проблемами. За последние годы философия из России была изгнана — но за границей, в изгнании она продолжала свою работу. Бердяев, Ильин, Федотов, Лосский, Карсавин и др. все выпускали труды, большей частью на религиозно-фил. тему. По-моему, если бы Ваш журнал дал в одном или двух номерах обозрение того, что сделали в последние годы русские философы — чтобы опыт содействовал его задачам. Я могу Вам, если хотите, рекомендовать и человека, который возьмется за такую задачу. Это сотрудн. «Сов. 3» — Г. Л. Ловцили. Его адрес: Berlin-Wilmersdorf, Nassauischerst 2. Если эта мысль представляется Вам удачной — напишите ему.

Жму Вашу руку

Л. Шестов

Послезавтра еду в Париж. Мой парижский адрес:
Paris (VI). 41, rue de l'abbé Grégoire

Начальные письма к Марине ЦВЕТАЕВОЙ

Содержание этих первых писем к М. Цветаевой может быть объяснено письмами самой Цветаевой. 20 писем ее ко мне были опубликованы Глебом П. и Никитой А. Струве в книге: Марина Цветаева. « Неизданные письма ». Париж ИМКА-Пресс. 1972 г.

14 окт. 1925 г.

87, rue du Commerce, Bruxelles

...Я чувствую в « Благонамеренном » какую-то легкую струнку, которая должна когда-нибудь выплыть и выступить в этом слове его полным содержанием.

Сейчас все писатели так нервны по отношению ко всяким гражданским страхам (право, все вроде членов петербургского религиозно-философского общества), что я сам себе удивляюсь: как мне удается все же преодолевать непреодолимое: собирать журнал с определенной благонамеренно-негражданской физиономией.

Все до того привыкли идти, в своих литературных обычаях по линии наибольшего гражданского сопротивления, что нормальная ассоциация слова: « Благонамеренный », это что-то вроде « Взгляда на Польский вопрос Императора Николая 1-го »... Вы, почти, кажется, единственны в своем откровенном неиспуге.

Я писал Вам о прозе, потому что хотел от Вас не менее 70-ти строк. Теперь, со дня на день, буду ждать поэму о Лже-Марине.

Очень благодарю Вас, глубокоуважаемая Мари-

на Ивановна за обещание дать психическо-критическое.

Глубоко Вам преданный

Дмитрий Алексеевич Шаховской.

Я редко, Марина Ивановна, восторгаюсь поэзией и прозой. Но я изумлен Вашей, два-три часа тому назад полученной.

До такой степени это не Ваше.

« Не мое » — не правда ли — высшая похвала, высшее утверждение человечьей личности, неимоверно высокая литература...

Вам преданный

Шаховской

13 декабря 1925 г.

Дорогая Марина Ивановна,

Я, вероятно, плохо выразился, что Вы меня не поняли.

« Не Ваше » — не в том смысле, что « не похоже на Ваше » (этого я бы не сказал ни в каком случае, ни про одного писателя), а в том что — « дурная человеческая личность » почти отсутствует в отрывке Вашем там и вообще.

Высшей литературой считаю Исаака Сирина, если молчать об Иоанне Богослове-родоначальнике литературы. Не знаю « убеждений » Ваших, — просто замечаю факт...

С Оболенским не знаком, даже не слышал о нем. Дурную же доброту Алексея Михайловича *) знаю : протежирует (даже не-покровительствует) молодым, просящим, — очень лишен способности отделять небесное государство поэтическое от земной Церкви человеческой.

Жду поэму. О « Ковчеге » (если пришлете « Ковчег », если поспеете прислать !) будет рецензия к 1-ому №.

Преданный Вам *Шаховской*

---

*) Ремизова.

1925 (Середина декабря)

Дорогая Марина Ивановна,

Вчера прочел Ваше письмо в « Последних Новостях », сегодня — « Дни ». Я не знаю, какой количественно — или качественно — интерес могут иметь для Вас мои сентенции, но пишу Вам, как некий (один из внимательных) читатель Ваш, и совершенно не собирательный.

Я чувствую разницу между тем, что Вы дали « Благонамеренному » и тем, что печатаете в « Днях » и « Последних Новостях ». У Вас какой-то пафос — считать серьезным то, что несерьезно. Некая, во вселенском масштабе, уступка наименьшему сопротивлению или самой малой форме наибольшего сопротивления (это точнее). Вы просто изменяете писательскому « наибольшему сопротивлению », Вы удовлетворяетесь, Вы « гутируете » себя мажорно. Если права Ариадна Чернова, то творчество Ваше, это кому-то данная клятва, то это есть клятва любования своим большущим (объективно !) поэтическим даром, в стихах ли в прозе ли; гутирование его идет во всех видах, без уздечки, которая в искусстве волшебна и парадоксальна *). Такое, как « По-

эма Конца», *прекрасно,* но не знаю как сказать, *разбавлено,* что ли. Есть более густые волны и есть менее. (О музыке, — вообще, тема большая. Скажу лишь, что *музыка слова* для меня есть что-то совершенно не похожее на инструментальную музыку, даже голосовую. Стих, «переложенный на музыку», для меня музыкальное кощунство). «Менее густые» (волны), не вообще, а — *для Вас.* Душа возмущена, когда видит культивирование кем-то своей слабости. Вы сидите с удочкой и ловите рыбку и радуетесь, вытаскивая с рыбками сучки. Для меня это было бы может быть достаточно— выловить сучек (и в сучке — смысл), но для Вас это плохо. Плохо даже не в том, что Вы ловите сучек, а в том что он Вам нравится (отсюда «гутирование»). Иначе, как же... Может быть Вы даже (до какой-то степени) не желая отличать сучков от рыбки, перестали уже различать их? Не знаю. Но пишу Вам не для того, чтобы что-нибудь написать и чем-нибудь высказать свое отношение, а просто.

«Настоящее материнство — мужественно»... Как и многое в «Днях» вчерашних, безоговорочно хорошо. Но «Разговор с Антокольским» — романтизм, бессодержательность которого я не ощущаю, нет, я просто вдыхаю (полостью рта, легкими).

Как в стихах иногда звуковая рифма притягивает нужную строчку, так и в мыслях, *рифма мысли* притягивается. Это хорошо — «в духе», а как прием литературный — мертвечинка.

Дар остроумия так же страшен, как и отсутствие поэтического таланта. И то и другое надо носить с достоинством и осторожностью. Затем: Вы о Вашей любви вероятно писали. Но любовей столько же, сколько и языков. В мире — столпотворение и смешение любви.

Впрочем, мне хотелось сказать только два слова...

Шаховской

---

*) Эту неясную мысль, я думаю, можно так объяснить : контроль художника над своим творчеством дает парадоксально ему новую широту и свободу более волшебную, чем рожденную из творческой безудержности (одна из черт поэзии Марины Цветаевой). М.Ц. не без труда выслушивала подобные оценки. (А.И.)

Это замечательно ! — довольствоваться « трехаршинным письменным столом, — хотя бы кухонным ! »

Только что переехал с Commerce на Vautier и письменным столом взял *трехаршинный кухонный,* покрыл сукном (черным) и пишу. (Комната пустая, если не считать кой-какой мебели)... до какой гениальной прозорливости доводит просторечие !

Спасибо — очень дельно, — за Венецию и Руднева.

Мне совестно, что я не исполнил одно Ваше пожелание ! А о Ковчеге исполнил.

Не совсем согласен с Вашим словом : « Чириков не отошел, а просто так-таки не приходил ». Приходила в Русскую Литературу тень Чирикова, от тени же на стене — искра Мирского — может быть и останется кой-какое пятнышко, только на самом деле, это не от тени, если же и пятнышка не остается, то какой же это, вообще « приход » ? и т. д.

О муже Вашем очень хотелось написать подлиннее, но — места, верьте, не было.

Из-за листа пришлось отрезать конец статьи А. Черновой, отрезать — кажется — вполне « органически ».

С Ремизовым — конечно, маленькая « история ». С 4 1/2 до... ходили с Цебриковым по платформе : один поезд приходит другой поезд приходит... за нашими спинами в одном зале мрак велий, избранное бельгийское литературное общество ждет « écrivain russe Rémizov ». Едем, входим в « salon ». К нам в передней подскакивает депутат Пьерар, спешно знакомится с Цебриковым (Цебриков с бородой !), как с Ремизовым. Все объясняется немедленно же : гости расходятся невольно улыбаясь, Пьерар, надевая пальто (предатель) добродушно иронически спрашивает (« вообще »), если Ремизов существует. На что Герцен (внук Герцена) отвечает не без остроумия : « Certainement, certainement il existe, puisqu'il est bossu ».

Целую Вашу руку

Шаховской

« БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ »
Журнал
Русской Литературной Культуры

Брюссель 22 февраля 1925

Дорогая Марина Ивановна,

Сегодня 22-е, завтра : 23-е, послезавтра : 24-е, послепослезавтра я получаю от Вас большой конверт с твердым содержанием. (Вообще я не символист, от этого я понимаю только простую и ясную символику вещей).

Прошу Сергея Яковлевича прислать « Шинель »

не позже этого срока, — мы печатаемся по алфавиту, его рассказ *второй*.

Стыд и позор! — Я не разобрал одного слова в письме Сергея Яковлевича: «Статья о.... ? ....» Надо все же отдать справедливость и Сергею Яковлевичу и мне: слово написано *несомненно* не Сергеем Яковлевичем, а Муратовым, а раз так, то никто не виноват. Право, если бы содержание сочинений Муратова было бы столь же загадочно, сколь его почерк — Муратов был бы «недюжинным» писателем. (Какое забавное слово «недюжинный»! Здесь есть что-то мужиковатое и вместе с тем — крахмальное, добросовестное, как воротничок!)

Вам, Марина Ивановна, преданный

Шаховской

21-е ПИСЬМО М. ЦВЕТАЕВОЙ

Это 21-е письмо Марины Цветаевой, от 1-го июля 1926 года, отправленное мне в Брюссель очевидно не дошло до меня, так как в июле месяце я отбыл на Афон. И оттого оно не вошло в число тех двадцати писем Цветаевой ко мне, из архива « Благонамеренного », которые я предоставил Сборнику, вышедшему в 1972 году в Париже по редакцией Глеба Струве и Никиты Струве : « Неизданные Письма Марины Цветаевой ».

Найденное в архиве сестры моей, Зинаиды Шаховской, это 21-е письмо Цветаевой, было ее ответом на мое последнее письмо к ней.

Прекратив издание « Благонамеренного », уезжая на Афон, принять иноческий постриг, я известил об этом сотрудников своего журнала и некоторым послал книгу своих стихов, книгу « Предметы », Брюссель, 1926 (в продажу не поступавшую).

« Грусть », о которой Цветаева говорит, как о следствии получения « книжки и письма » от меня, характерна для общества русского, которое считало иноческий постриг чем-то вроде самоубийства. Такое чувство, тем более у Цветаевой, могло возникнуть в отношении 23-летнего человека, благополучно жившего чисто-светской, интеллектуальной и литературной жизнью, поэта, писателя. Новый мой путь

не умещался в горячем и честном уме М. Цветаевой. Она предельно искренно выражала свои чувства, об этом свидетельствует ее письмо, как и все ее писания. Живой, тончайшей поэтической мыслью она реагирует на мой уход из жизни, то есть из того круга поэзии, литературы, в котором я находился и который был ее кругом.

Текст последнего стихотворения книги « Предметы », « Надпись на могильном камне », о котором Цветаева упоминает, таков :

« По камням, по счастью и по звездам
Направляли путь к краям далеким.
Кораблей предчувствуя движенье
Говорили о великом ветре.

И никто из нас не мог поверить,
Что хотим мы в жизни только славы
Отлететь на каменные звезды,
Полюбить блаженства первый камень ».

Цветаева воспринимает эти строки и мой уход из литературы и из « мира », как что-то происходящее « вне жизни, над жизнью ». Второй половиной этого определения (« над жизнью ») она, повидимому, хочет углубить ценность состояния « вне жизни ».

Мыслящая образами, Марина вспоминает наше с ней посещение Сергиевского Подворья в Париже... Признаюсь, я сам не могу вспомнить этого посещения. Не будь этих строк Цветаевой, я был бы убежден, что его не было. « Ветер оттуда », — говорит Цветаева об этом последнем ветре моем. Это отчасти верно, но, конечно, не на Сергиевском Подворье начался этот ветер. « Над Сергиевым Подво-

рьем», говорит она, «вечный дождь. Так я его вижу». Очевидно, тогда и шел дождь, этот серый парижский дождь, — Цветаева его увековечивает свойственной ей крайностью чувств — «вечный». Дорожки были «сиротливы». Вывод ее, — «Вы не тот». То есть, я принадлежу, как думает она, не к области серого дождя.

Тут что-то не только личное, связанное с уходом человека, но, может быть, более, чем личное. Какая-то трещинка видна в ее ценностях. «Мне жаль Вас терять — не из жизни, я сама — вне (курсив мой), из третьего царства — не земли, не неба, — из моей тридевятой страны, откуда все стихи». Строки эти ее значительны. И, думаю, остро-автобиографичны. Видишь их раскрытие в финале «Мастера и Маргариты»: не небо, не ад, а какое-то другое, третье (неясное) место в вечности для людей. Конечно, такого места нет, но Цветаева и М. Булгаков хотят, чтобы оно было; место, лишенное божественного света, но соответственное любви земной и земному человеческому творчеству.

Цветаева предвосхищает булгаковское царство, где устроен был на целую вечность Понтий Пилат и где устроился и Мастер с Маргаритой. Марине, видимо, жаль меня «отпускать» с этой перспективы — не с земли (она сама — не только на земле), а из этого третьего мира, созданного ее свободным и потому столь дорогим ей, творческим вдохновением.

На этом стоит «литература», поднимаясь большой волной над дождиком земли и ее «сиротливыми дорожками» вокруг храмов и святынь.

Цветаева не видит огромного мира над «третьим царством», что было, на какой-то срок, нашим общим царством и где мы встречались с ней... Журнал мой был тогда и для нее одним из выраже-

ний этого « Третьего Царства ». Для меня ж оказался он еще чем-то бóльшим. Но создалась человеческая близость по « третьему царству »... И теперь от этого я уходил, и не только от « лирической игры », но и из всего « третьего царства ». А Марина оказалась ему верна до конца своих дней. И царство это ее не пощадило и растерзало. Потому что вообще его нет, этого третьего царства в мире духа. Tertium non datur.

Письмо Цветаевой написано с душевным напряжением; Марина меня зовет хотя бы в краткий отпуск, из этой только что для меня начавшейся новой жизни... Ведь в эти дни, когда она писала свое письмо, я был, вероятно, уже на Афоне и готовился к постригу... А она пишет: « В 20-х числах здесь будет Мирский *), приезжайте, жить будете у нас, в комнате С.Я. **), вторая кровать. Побродите по Сэн-Жильским пескам, покупаетесь, поедите крабов и рыбов, прослушаете две моих новых вещи — проститесь с чем-то, чего на Подворье с собой не возьмете »... Милая, трогательная Марина, как хотелось ей меня утешить пред началом моих новых путей, как ей казалось на « сиротливых дорожках ».

Но никакого дождя не было и никаких сиротливых дорожек. Ни в тот год, ни потом. И уже прошло больше 50 лет, с того, 1926 года. И над всеми трудностями был Божий Свет... Какая печаль, что за ее « третьим » царством не открылось Марине такое простое второе, настоящее, не литературное царство человека, в котором и Марина могла бы спастись от своей предельной сиротливости в мире — особенно в эту ужасную елабугскую минуту.

Подумать только, в какой сиротливости она

была, когда даже Б. Пастернак, живший рядом, не помог ей. Она была тоже (по-своему) « не от мира сего » — Марина, и умела мужественно защищать в себе дух неотмирности. Но среди ее сиротливых дорожек не хватало, не хватало ей Царства Царя славы.

В конце письма горячие строки : « Письма Ваши (те) поберегу, пока не востребуете. Как все то (душевное), чего в Сергиевское с собой не берут. Вы оставите мне себя из тридевятого Царства, себя — стихов (грехов у Вас нет !) »... А мое « тридевятое Царство » было уже прохудившейся одеждой, — я ее с себя сбрасывал и сбросил в это лето. И в этом тоже помогала мне поэзия.

А.И.

---

*) Кн. Дм. Петрович Святополк-Мирский, известный литературн. критик и тоже сотрудник журнала.

**) Сергей Як. Эфрон, ее муж.

St. Gilles, 1-го июля 1926 г.

Доро́гой Димитрий Алексеевич,

Спасибо сердечное за книжку и письмо. Но и от книжки и от письма — грусть. Помните наше совместное посещение Сергиевского подворья? Ветер — оттуда. Вижу Вас на сиротливых дорожках — с книжкой — не стихов уже. Над Сергиевским подворьем — вечный дождь. Так я его вижу. Вы — не так. Но сказав : больно, я должна объяснить — почему.

Конец « Благонамеренного », конец города (Подворье), конечный стих Вашей книги, старые концы каких-то начал (письма), — все это вне жизни, над жизнью. Мне жаль Вас терять — не из жизни, я

сама — вне, из третьего царства — не земли, не неба, — из моей тридевятой страны, откуда все стихи.

О деньгах не тревожьтесь. Захочет, сможет — отдаст. Я напишу ему, и С.Я. напишет. Что выйдет — видно будет.

А Вы, до Подворья, можно и *из* Подворья, не приехали бы к нам? В 20-х числах здесь будет Мирский, приезжайте. Дорога не так дорогá — 75 фр. Об остальном не беспокойтесь. Жить будете у нас, в комнате С.Я. вторая кровать. Побродите по Сэн-жильским пескам, покупаетесь, поедите крабов и рыбов, прослушаете две моих новых вещи, — проститесь с чем-то, чего в Подворье с собой не возьмете.

Письма Ваши (те) поберегу, пока не востребуете. Как все то (душевное), чего в Сергиевское с собой не берут. Вы оставите мне себя из тридевятого царства, себя — стихов (грехов у Вас нет!).

До свидания. Как растравительно-тщателен тип заставки к письмам. А почерк! Самая прелесть в том, что он был таким же и на счетах — и в смертный час! Форма, ставшая сущностью.

Жду ответа о приезде. Можно и позже, в августе.

Сердечный привет

М.Ц.

ОГЛАВЛЕНИЕ